

ПЬЕР-АМБРОЗИО КУРТИ

**ПОД РАЗВАЛИНАМИ
ПОМПЕИ. Т. 2**

История в романах

Пьер-Амброзио Курти

Под развалинами Помпеи. Т. 2

«Public Domain»

1874

УДК 821.131.1
ББК 84(4Ит)

Курти П.

Под развалинами Помпеи. Т. 2 / П. Курти — «Public Domain»,
1874 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03625-5

Пьер Амброзио Курти (годы жизни не установлены) – итальянский писатель, мастер исторического повествования, засвидетельствовавший своими произведениями глубокое знание древней римской жизни. В романе «Под развалинами Помпеи», окончание которого публикуется во втором томе данного издания, живой кистью художника нарисована картина римского общества в самый интересный и поучительный с исторической точки зрения период римской истории – в эпоху «божественного» императора Августа. На страницах романа предстанут перед читателем Цицерон, Гораций, Тибулл, Проперций, Федр, Овидий и другие классики Древнего Рима, а также императоры Август, Тиверий, Калигула, Клавдий и Нерон.

УДК 821.131.1

ББК 84(4Ит)

ISBN 978-5-486-03625-5

© Курти П., 1874
© Public Domain, 1874

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	18
Глава четвертая	23
Глава пятая	28
Глава шестая	35
Глава седьмая	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Пьер Амброзио Курти

Под развалинами Помпеи. Т. 2

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИД Литература», 2010

Глава первая

Анагност

Читатель припомнит, вероятно, что между подарками, сделанными Ливией Августой детям Марка Випсания Агриппы, находился также ее собственный анагност, то есть певец и чтец, фригийский юноша Амиант; она подарила его младшей Юлии.

Юлия взяла Амианта вместе с собой в Байю, и тут же скажу, что с первых же дней своего пребывания в ее доме он стал пользоваться ее благосклонностью. Красивой и ветреной, но вместе с тем образованной и знакомой, подобно своей матери, с греческой литературой, младшей Юлии Амиант понравился потому, что мог занять ее, – особенно в те несносно жаркие летние часы, когда утомление и нега овладевают телом и как физический труд, так и умственное напряжение становятся невозможными, – рассказывая ей любовные истории и декламируя стихотворения своей нации на своем благозвучном наречии или исполняя своим мелодичным голосом разные песни под аккомпанемент цитры.

Эти же самые качества приобрели молодому и красивому анагносту благосклонность и Ливии Августы, и мы видели уже, как он готовился усладить свою августейшую госпожу песнями из «Илиады» Гомера, когда к ней явились Ургулания и Тиверий.

Но, хорошо исполняя героические песни, он с еще большим искусством передавал произведения лирических поэтов Греции, и особенно песни эротического содержания, преимущественно нравившиеся не слишком целомудренной супруге Луция Эмилия Павла, вполне соответствовавшие также нежному и мелодичному голосу Амианта и его изящной фигуре.

Не отступая от записок, оставленных вольноотпущенницей, мне приходится здесь познать читателя с Амиантом; между прочим, знакомство это интересно ввиду того, что история этого молодого невольника древнего Рима подобна истории многих других его товарищей по несчастью, а также и тех фригийских юношей, которые на судне Мунация Фауста были привезены в Рим Азинием Эпикадом вместе с Неволеей Тикэ.

Амиант был также из какого-то фригийского города и происходил от благородного семейства, где получил хорошее воспитание, упражняясь в гимнастике и изучая своих национальных писателей и музыку; своей изящной фигурой и красивым лицом он напоминал те типы, которые сделались бессмертными в божественных произведениях резца Фидия, Лисиппа и Поликлета. Но своей внешней красоте и своему образованию он обязан был постигшим его несчастьем. Злодей-учитель, надзору которого он был поручен, продал его дорогой ценой пиратам и сам же передал им его, гуляя вместе с ним по морскому уединенному берегу, чтобы облегчить пиратам похищение.

После этого неудивительно, что удаленный из своей родины и привезенный в Рим, он был предложен сперва самой императрице, которая тотчас же купила его.

Это было, между прочим, большим счастьем для красивого юноши, так как в семействе Августа, под надзором своей образованной повелительницы, он мог довершить и усовершенствовать свое образование и затем сделаться анагностом при императрице, обязанностью которого, как уже известно читателю, было читать вслух в ее кабинете или в триклиниуме ей и ее сотрапезникам, а равным образом петь мелодии своей родины, чем он доставлял особенное удовольствие слушателям, умея мастерски аккомпанировать себе на цитре.

В Риме той эпохи, как известно, греческие рабы и вольноотпущенники завладели, так сказать, привилегией в сфере литературы, философии и изящных искусств своей родины. Римские же граждане, говоря вообще, занимались этими предметами; лишь немногие из них, обладавшие средствами и вместе с тем стремившиеся к образованию, для его окончания уезжали в Грецию.

В этой стране Цицерон познакомился с ее ораторами и философами и впоследствии проводил их принципы в своих философских сочинениях; туда же ездили Гораций и Брут слушать Феонеста и Кратиппу; учась вместе, они там же и подружились и потом вместе дрались против неприятелей в знаменитой битве при Филиппах, выигранной не столько храбростью Октавия, сколько его счастьем.

Амиант возбудил в себе у Ливии Августы особенную симпатию, и она дорожила им; со своей стороны и молодой человек был искренне и глубоко предан императрице; она не решилась бы так скоро подарить его внучке своего мужа, если бы не имела намерения вновь вернуть его себе или, говоря иначе, если бы этот подарок не был одним притворством и обманом.

После того разговора с Ургуланией, в котором был усовершенствован план действий против детей Агриппы, Ливия, позвав к себе Амианта, спросила у него:

– Мой добрый Амиант, могу ли я рассчитывать на твою преданность ко мне?

– Разве ты, божественная Августа, не моя повелительница?

– Но могу ли я рассчитывать на твою преданность?

– Не чту ли я тебя, как богиню? Не была ли ты ко мне всегда милостива и добра? Для тебя я забыл свое отечество и родных и, будучи при тебе, не чувствовал страданий невольника. Твое тело принадлежит тебе, но я добровольно посвятил тебе и свою душу.

– А если бы я возвратила тебе свободу, оставил ли бы ты меня?

– Я бросился бы к твоим ногам, чтобы просить тебя позволить мне остаться вечно твоим рабом; свобода же, дарованная мне тобой, прибавила бы лишнее кольцо к той цепи, которой привязан я к тебе.

Подарив ласковой улыбкой белокурого Амианта, Ливия продолжала:

– А все-таки я удаляю тебя от себя.

Это известие, казалось, сильно поразило и опечалило Амианта: он побледнел, склонил голову на грудь и глубоко и болезненно вздохнул.

– Не печалься, дитя, это будет на короткое время, и притом ты все-таки останешься в семействе Августа.

Амиант поднял голову, и лицо его прояснилось; он с нетерпением ждал разрешения загадки. И Ливия ласковым голосом объяснила ему тут, что он вместе с младшей Юлией должен будет отправиться в Байю и что, находясь в доме Луция Эмилия Павла и служа его жене, он вместе с тем будет служить и ей, Ливии, так как она поручает ему наблюдать за внучкой и сообщать ей, Ливии, обо всем, что будет происходить вокруг младшей Юлии. «Таково желание цезаря, – сказала в заключение хитрая императрица, – и этого требуют интересы его семейства и государства; наградой же тебе будет скорое возвращение ко мне, усиление моего благоволения и свобода, которая не разлучит тебя со мной, если таково твое желание».

Таким образом Амиант перешел в дом Юлии, жены Луция Эмилия Павла, как раз в тот самый день, когда оттуда была взята Неволей Тикэ.

В это время Амианту шел двадцатый год, и хотя, в первые дни его нахождения в доме Луция Эмилия Павла, младшая Юлия, ненавидевшая Ливию, не обращала никакого внимания на бывшего анагноста последней, но, взглянув однажды на его красивое лицо и изящную фигуру, она удержала его при себе с большим удовольствием. Она была сильно опечалена потерей Неволен Тикэ или, вернее сказать, сильны и шумны были выражения ее печали по этому поводу; но, благодаря своему характеру, она скоро успокоилась. Любя разнообразие в ощущениях, она в то время отдалась размышлениям о предстоявшей поездке на байские воды. Сперва заботы по сборам в дорогу, выбор лиц из домашних в качестве спутников, прощальные визиты, затем самое путешествие, море, горы, роскошная вилла Юлия Цезаря, новая обстановка жизни, развлечения всякого рода, все это отвлекало ее от серьезных предметов и размышлений.

Бедная Тикэ если не была забыта совершенно, то почти уже не вспоминалась Юлией, забывшей свои клятвенные обещания, неисполнение которых ее не беспокоило, так как невоз-

возможность их исполнения она ставила в вину Ливии, и в этом смысле она оправдывалась перед Овидием, если случалось, что он напоминал ей о Тикэ. В такой ветрености и живости характера она чрезвычайно походила на свою мать.

Чего еще более? Иметь у себя такого красивого невольника, какого получила от Ливии взамен Тикэ, удовольствие слушать его декламацию героических поэм Гомера и Гесиода, патриотических стихотворений Тиртея и Калина, «Аргонатов» Аполлония, «Леандрид» Моска или пение нежных песен Анакреона и Алцея, Малеогра и Сафо вместе со сладкозвучной игрой на цитре – все это в конце концов привело Юлию к тому убеждению, что в совершенном обмене не она в потере и что ей скорее приходится быть благодарной Ливии за такой обмен.

Если Юлии и приходила мысль, что этот подарок сделан высокомерным врагом ее семейства с каким-нибудь злым умыслом, то эта мысль тотчас же исчезала, так как один наружный вид юноши Амианта легко мог рассеять подобного рода подозрения. Слишком недалководидная внучка императора никак не воображала, чтобы Ливия не пренебрегала и такими средствами к достижению своих тайных целей. Как бы то ни было, Амиант скоро приобрел ее благосклонность, которая мало-помалу перешла в симпатию и чувство уважения к молодому анагносту.

Заметив симпатию, какую питала к нему новая госпожа, Амиант был сперва поражен этим открытием, а потом оно глубоко тронуло его сердце и душу; он не помнил более о поручении, данном ему Ливией, а если бы и вспомнил, то постыдился бы его: в его лета сердце легко открывается для любви, и он увлекся самыми безумными мечтами. Не зная еще того, что его дева по своему характеру и чувствам была самым странным, ветреным существом, которое, подобно пестрой бабочке, перепархивающей весной с цветка на цветок, так же легко переходило от одного предмета любви к другому, оставаясь неуязвимым, – не зная этого, но припоминая нравы римских матрон, часто вступавших в любовную связь с людьми низшего общественного слоя и даже со своими невольниками, живя посреди развращенного и бесстыдного общества, Амиант невольно увлекся неразумной страстью.

Но подметила ли его страсть Юлия? Поощряла ли она ее? Разделяла ли она ее в своем сердце? Я не могу отвечать на эти вопросы утвердительно; знаю только, что младшая Юлия шла по следам своей матери, которая служила ей в этом отношении соблазнительным примером. Не разделяя, быть может, любви своего красивого анагноста, она, несомненно, не выражала отвращения к его чувству и не старалась уничтожить это чувство в первые минуты его появления; всякая женщина редко выражает свое пренебрежение и презрение к мужчине, поклоняющемуся ее красоте и прочим достоинствам и не скрывающему свою преданность ей; легко могло быть, что Юлии была приятна любовь к ней Амианта, так как при помощи этой любви она могла подчинять его своим желаниям, делать его послушным всем своим капризам.

О, сколько раз бедный анагност, читая вслух божественной Юлии стихи поэтов своей родины, воодушевлялся тем пламенем, которое пылало в его сердце! Сколько раз при этом его лицо то бледнело, то покрывалось ярким румянцем, смотря по тому, что выражалось в гармоничных стихах: чувство ли чистой любви или пламенная страсть; и голос его делался то тихим и нежным, то громким и порывистым. Сколько раз он готов был сказать ей: «Выражаемое мной чувство относится к тебе», но его останавливало уважение к ней, а быть может, то равнодушие и та рассеянность, с какими слушали его чтение и пение, или страх быть отвергнутым, уничтоженным и наказанным. Бедный невольник!

И если бы только этим ограничивались его страдания; но его терзала еще ужасная ревность, когда его прелестная повелительница приказывала ему иногда поздней ночью ждать у потайной двери того или другого патриция. Нельзя было сказать, чтобы со времени своего приезда в Байю Юлия дала бы повод предполагать, что ее сердце предпочло кого-нибудь из окружающих ее обожателей; но страстно влюбленный анагност ревновал ее ко всем и ко всему, он мучил себя самыми нелепыми предположениями, и тени и фантазии принимали в его воображении телесные образы.

Была, между прочим, одна ночь, та самая, в которую Луций Виниций скрылся из Байи, когда Амиант, ждавший его выхода из внутренних покоев Юлии и затем провожавший Виниция до порога потайной двери, едва не убил его у того порога, полагая, что Виниций наслаждался с ней любовным свиданием. К бедному же Амианту обратилась Юлия и вечером того дня, когда возвращаясь с прогулки и отговариваясь усталостью, она поспешила проститься со своими гостями и удалилась в свои комнаты.

– Амиант, – сказала тогда ему Юлия, – эту ночь ты будешь бодрствовать на террасе, пока не заметишь плывущим прямо к нашему мысу *faselus* Вибия, который тебе хорошо знаком. А когда его увидишь, то подай знак зажженным факелом; потом, когда увидишь в ответ огонь на лодке Вибия, подожди у потайной двери человека, который сойдет на берег из *faselus'a*, и проводи его ко мне; я не лягу в ожидании его.

Амиант должен был повиноваться.

Следовательно, его видели мы прохаживающимся взад и вперед в ту ночь на террасе цезарской виллы, его видели мы машущим зажженным факелом; это он отворил потайную дверь и ввел на виллу человека, выскочившего из лодки и побежавшего по направлению к этой вилле, где этот инкогнито был встречен самой Юлией, которая увела его к себе в комнату.

Нет надобности умалчивать, что счастливый юноша, принятый в такой поздний час внучкой Августа, был не кто иной, как Луций Виниций. Тогда он только что возвратился из Соррента. С какой целью он ездил туда, мы узнаем от него самого, когда он станет отдавать отчет в своей поездке красавице – жене Луция Эмилия Павла.

– Ну что? – спросила Юлия молодого патриция, как только за ними затворилась дверь будуара и они сели друг возле друга.

– Агриппа одобряет и ожидает. Сальвидиен Руф тайно виделся с ним; намерение наших друзей – сперва похитить твою мать, а на следующий же день Агриппу из Соррента. Нельзя спешить исполнением предприятия: приготовления в Калабрии многосложны, необходимо большое благоразумие и большая хитрость, чтобы обмануть аргусов, стерегущих твою несчастную мать. Наши друзья, готовые на все, все уже на своих местах.

– А о моем брате, Луций Виниций, ты не имеешь ничего более сказать мне?

– Об одном, Юлия, просит тебя твой брат. Он хотел бы, чтобы ты поспешила обнять его в Сорренте.

– Но разве это мне возможно, Виниций?

– Отчего ты не попросишь теперь же позволения у Августа?

– Он не позволит.

– Разве Ливия не стала к тебе благосклонней? А если Ливия согласится, то Август не станет сопротивляться.

– Как же я обращусь к деду?

– А разве табелларий не уезжает завтра утром в Рим?

– Простое холодное письмо не тронет Августа, – отвечала Юлия, бросив многозначительный взгляд на молодого патриция, и тот, поняв этот взгляд, тотчас сказал:

– Юлия, божественная Юлия! Приказывай только, и я не только поспешу в Рим, но сойду и в самый ад, хотя в те дни, в которые я буду находиться вдали от тебя, чтобы услужить тебе, будут для меня все-таки днями печали и страданий.

– Если бы ты меня действительно любил, Виниций, то услужить мне было бы для тебя не печалью, а радостью, не страданием, а наслаждением. Не думаешь ли ты, что для меня не значит ничего видеть тебя вдали от себя? – И соблазнительница взяла руку Луция Виниция и, слегка пожав ее, оставила в ней свою руку.

При этом пожатии дрожь пробежала по всему телу влюбленного молодого человека; он почувствовал себя сразу объатым пламенем и, бросившись к ее ногам, проговорил:

– О Юлия, о жизнь моей жизни! Повелевай же, я уеду в Рим завтра, сегодня, сию же минуту, – словом, когда ты захочешь; но прошу тебя о том, чтобы я увез с собой дорогую надежду, что ты действительно не отвергнешь того чувства, которым пылает к тебе мое сердце.

– Разве я не сказала тебе, Луций: уезжай и возвращайся?

В этих словах, произнесенных, по-видимому, от всей души, заключалось более нежели обещание.

Луций Виниций, схватив руку Юлии, стал покрывать ее горячими поцелуями.

В это мгновение отворилась дверь и на пороге ее появился Амиант.

– Ты звала меня, госпожа? – спросил невольник со смертной бледностью в лице, дрожащим и глухим голосом и почти с безумием во взоре.

Страшно терзаемый ревностью, он подслушивал у дверей. Большой части разговора между Юлией и Луцием Виницием он не слышал и смысла его не понял, но звук поцелуев вывел его из себя, и, рискуя собой, он решился войти в комнату, как будто бы его звали. Если бы, вместо того чтобы увидеть Луция Виниция целующим руки его госпожи, он застал его сжимающим ее в своих объятиях, Амиант бросился бы на него, подобно раненому тигру, и задушил или зарезал бы его.

Юлия поняла ревнивые чувства своего красавца анагноста, но не оскорбилась его поступком; напротив, улыбаясь, она сказала ему:

– Да, я звала тебя, Амиант, для того, чтобы ты провел моего гостя из дома, так как уже очень поздно.

Затем, как ни в чем не бывало, обратившись к влюбленному в нее патрицию, продолжала:

– Луций Виниций, мы увидимся завтра, в третьем часу, – и отпустила его пожатием руки, более красноречивым, чем сами слова.

Луций Виниций, глубоко поклонившись, вышел и до самой потайной двери – от радости ли сознания быть взаимно любимым, от негодования ли на Амианта за прерванное им сладкое свидание – не проговорил с ним ни слова.

Амиант в свою очередь хранил глубокое молчание, но чувства, волновавшие его в эту минуту, были совершенно иные.

Проведя из дома Виниция, он быстро возвратился назад: он хотел броситься к ногам Юлии и вымолить у нее или прощение, или наказание в виде смерти, так как ему казалась невыносимой жизнь при безграничной и необузданной любви, которая терзала его сердце без малейшей надежды на счастье; но когда он поднял авлеум¹ будуара Юлии, ее там уже не было: в нем царствовала совершенная темнота.

¹ Aulaeum (или aulea) – ковровая ткань, служившая для декорации залов, галерей и дверных занавесей. Так же называли и театральные занавеси.

Глава вторая

Строгий выговор Августа

Та ночь была ужасна для несчастного анагноста: он не смыкал ни на минуту своих глаз, терзаемый беспокойными мыслями.

– Она любит его! – шептал он самому себе. – Иначе разве она позволила бы ему стоять перед ней на коленях и держать свою руку в его руке? И о чем бы он мог молить ее у ее ног?.. А поцелуй? Ведь я слышал эти громкие поцелуи... на ее руках!.. Или скорее на ее губах!.. Обменивалась ли она ими?.. О, будь проклят весь ад! Зачем я не убил его в ту минуту?.. Но кто это такой?.. Он патриций, это правда, и римский всадник также... Но пусть он будет самого высокого рода, так что ж из этого?.. В моем отечестве я также принадлежал к знаменитому роду... Да, наконец, разве она не ободряла меня в моей любви к ней?.. Когда я пел гимны богини Венеры, когда я повторял, по ее же желанию, сладострастные вещи Сафо, не ласкала ли она много раз мою белокурую голову, не зажимала ли в эти минуты, улыбаясь, своей белой и надушенной рукой моего рта, позволяя, чтобы мои песни замирали в поцелуях на ее руке?.. И этому незнакомцу похитить ее у меня?..

Таким образом, одна мысль сменялась другой, волнуя страстного юношу до безумия. Ревность толкнула его на злой поступок; схватив карандаш, он стал чернить им на навощенных дощечках, которые как будто вызывали его к доносу.

Слабый свет наступавшей зари только что пробивался в его бедную комнатку, когда кто-то постучался к нему в дверь.

– Войди, Вибий! – воскликнул Амиант, как только услышал за дверью голос, произнесший его имя.

Вибий был тот лодочник, который в эту самую ночь привез из Соррента Луция Виниция; он пришел сказать Амианту, что табелларий Агат Вай уезжает на его лодке в Неаполь и ждет писем в Рим.

– Они готовы, – ответил мрачно Амиант.

– Что случилось с тобой, Амиант? На тебе лица нет и глаза какие-то странные. Клянусь Геркулесом-снотворцем, что в эту ночь тебе приснилось что-нибудь, предвещающее несчастье².

– Действительно, я видел ужасный сон, – сухо заметил Амиант.

– Пустяки, он пришел к тебе из дверей слоновой кости, лживых и обманчивых, не думай о нем.

Амиант, выйдя из комнаты, отдал дощечки ждавшему его табелларию, которого он видел затем севшим в лодку Вибия, сильно взмахнувшего веслами. Faselus отчалил от берега и понесся по направлению к Неаполю.

Несчастный анагност следил взором за быстрым бегом лодки Вибия. Когда она скрылась вдали и не было уже возможности вернуть ее обратно, Амиант почувствовал острую боль в своем сердце: это был первый укол совести за злой поступок, только что совершенный им; и, возвращаясь на виллу Цезаря он спрашивал у самого себя: «Хорошо ли я поступил?»

Я уже говорил, что для Амианта, отличавшегося благородным образом мыслей, было отвратительно поручение, данное ему Ливией; это было его первое письмо к ней, но и оно было написано под влиянием чувства, совершенно отличного от того, на которое рассчитывала его госпожа; и молодой человек испытывал уже, хотя и поздно, муки раскаяния.

² У древних были особые боги сна, которые посредством снов предсказывали смертным будущее. К числу этих богов у римлян принадлежал и Геркулес. Больных посылали спать в его храм, чтобы услышать от него во сне приятное предвещание о восстановлении их здоровья.

Но на некоторое время нам приходится оставить его в добычу угрызениям совести и мучениям, какими терзала его сердце ревность. Другие действующие лица в моей истории должны занять теперь наше внимание.

В этот день в байский порт вошло, поспешнее обыкновенного, судно, нам уже хорошо знакомое, «Тикэ», принадлежавшее Каю Мунацию Фаусту, навклеру из Помпеи.

Вся палуба его верного судна была убрана гирляндами из живых цветов; на мачтах развевались разноцветные флаги; матросы были одеты по-праздничному и имели веселые лица; словом, для купеческого судна Мунация Фауста этот день был каким-то праздником.

Так, по крайней мере, думали все те из байских жителей, которые смотрели на судно, когда оно входило в порт.

Среди любопытных, следивших с особенным удовольствием за входившей в порт «Тикэ», находился и Луций Виниций, который в нетерпеливом ожидании назначенного ему Юлией часа свидания старался убить время, наблюдая за непрерывно приходившими в байский порт и выходившими из него судами. В это время года этот порт, в эпоху нашей истории, был самым оживленным: сюда стремились из многих мест Италии на морские купанья.

Едва лишь был опущен якорь, как Мунаций Фауст быстро и легко спрыгнул на берег; казалось, что у него, как у Меркурия, ноги были снабжены крыльями³.

И действительно, он летел в Байю на крыльях любви. Он прибыл сюда из Помпеи, где пробыл короткое время, возвращаясь из пролива Сциллы, близ которого оставил Тимена, Деция Силана и Луция Авдазия; в Помпее он приготовил свой дом для приема в нем Тикэ и сложил там ее дорогие сокровища, унаследованные ею от своего отца и привезенные Мунацием из Греции. В Байю же он явился, чтобы по условленному договору получить свою Тикэ и отвезти ее к себе, как свою жену или, по крайней мере, в качестве жены, исполнив, таким образом, и взаимные клятвы, и страстное желание своей души.

Узнав издали Мунация Фауста, Луций Виниций поспешил к нему навстречу и, дружески пожав ему руку, пошел с ним на виллу, занимаемую Юлией, расспрашивая его дорогой о своих друзьях.

Придя к Юлии и не желая откладывать осуществления цели своего посещения, о которой, разумеется, догадывалась супруга Луция Эмилия Павла, Мунаций Фауст начал так:

– Деций Силан и Луций Авдазий, а вместе с ними и фригийский корсар посылают тебе, Юлия, привет. Как они, так и прочие твои друзья, собравшиеся в безопасном месте, энергично работают для достижения предложенной ими цели. Я, как ты видишь, точно исполнил свой долг относительно тебя и позволь мне теперь, Юлия, просить у тебя условленной между нами платы. Отдай мне теперь Неволею Тикэ.

– Неволея Тикэ в Риме, – отвечала Юлия, изменившись в лице и слабым голосом, как бы предчувствуя имевшую разразиться бурю.

– По какой причине в Риме? – спросил Мунаций Фауст, лицо которого в это мгновение исказилось от мучительного предчувствия нового несчастья. – Не таков был, Юлия, – продолжал он, – наш договор. Почему она не с тобой?

– На это была воля Августа...

– Каким образом могла вмешаться в это дело его воля? Тикэ была моя; цезарь не мог иметь на нее никаких прав.

– Воля Августа – его право.

– А отчего ты не воспротивилась?

– Ее увели из моего дома в мое отсутствие.

– Где Тикэ, спрашиваю я? – все более разгораясь, вскричал помпейский навклер.

³ Меркурий был богом красноречия, торговли и воров и вместе с тем посланником богов – преимущественно Юпитера, который снабдил его голову и ноги крыльями, чтобы он мог быстрее исполнять его приказания.

– В доме Августа, в Риме, у Ливии Друзиллы.

– А, вот как семейство Юлии исполняет свое слово, вот как соблюдает свои договоры! – продолжал Мунаций Фауст, едва сдерживая свой гнев.

– Послушай, Мунаций, – прервал его Луций Виниций, – она ведь ни в чем не виновата.

– Молчи и наблюдай за своими делами! – вскрикнул навклер, окидывая Виниция угрожающим взглядом.

– Молодой человек, – проговорила тогда жена Луция Эмилия Павла, желая прекратить неприятную сцену, – твою неприличную речь я извиняю твоим горем. Но что могла я сделать? Разве ты не имеешь от меня письменного удостоверения, свидетельствующего о том, что я уступила тебе Тикэ? Отправляйся же в Рим и, основываясь на своем праве, требуй Тикэ от Августа.

– Ха, ха! – захохотал Мунаций почти безумным смехом. – Основываясь на моем праве! Не ты ли только что сказала, что воля Августа – есть его право? Но клянусь богами ада! Я сам совершу суд; клянусь в том помпейской Венерой!

И, полный бешенства, он повернулся спиной к Юлии и быстро вышел из комнаты, произнося упреки и проклятия. Добежав до берега и вспрыгнув на свое судно, экипаж которого тотчас заметил странно беспокойное состояние духа своего хозяина, Мунаций Фауст вскрикнул:

– В Помпею!

Все бросились исполнять его приказание, и несколько минут спустя купеческое судно, выйдя из порта, направило свой нос по направлению к Латарийским горам, у подошвы которых привычный глаз заметил бы легко то место, где находилась Помпея, и даже различил бы дома, рассеянные по возвышенному берегу моря, подобно стаду овец, и отражавшиеся в водах великолепного залива.

Оставим теперь купеческое судно следовать по своему пути и возвратимся в покои младшей Юлии, смущенной сценой с Мунацием Фаустом.

По выходе последнего Луций Виниций не решался нарушить молчание, несколько минут спустя прерванное самой Юлией, которая, не обращаясь к Виницию, а как бы рассуждая сама с собой, говорила:

– И за что обвинять меня в случившемся? Разве я сама не подвергаюсь ежедневным неприятностям и преследованиям со стороны Ливии, этого злого гения моего деда, этой фурии моего семейства?

– Пусть он едет в Рим требовать ее себе, как ты ему сказала, – прервал тут Юлию Луций Виниций. – Пусть он сделает это, если не страшится гнева Ливии и мамертинской или туллианской тюрьмы.

Юлия как бы не слышала этих слов Виниция и, пробыв несколько минут в задумчивости, сказала:

– Луций, теперь, более чем когда-либо, тебе нужно ехать в Рим. Вот тебе письмо, которое я написала Августу, отдай ему его и употреби все свое старание, чтобы он позволил мне ехать в Сорренто обнять там моего брата. Поспешу со своим отъездом, чтобы опередить Мунация Фауста, так как он в своем безумии может скомпрометировать все и всех.

Луций Виниций взял письмо и спрятал его у себя на груди; затем, схватив правую руку Юлии и прижав ее к своему сердцу, посмотрел в глаза красавицы с таким выражением, как будто спрашивал ее: «А буду ли я награжден?»

– Иди и возвращайся, Луций, – отвечала она на красноречивый взгляд влюбленного молодого человека, – и возвращайся поскорее; разве я тебе не говорила? – и при этих словах прелестная сирена приложила к его губам свою красивую ручку.

Если бы в этот день вечером Юлия вышла на террасу, обращенную к морю, подышать душистой прохладой, что она имела обыкновение делать, то увидела бы Луция Виниция на судне, выходящем из порта, и для влюбленного молодого человека было бы большим утеше-

нием заметить, как с террасы ему машут платком, но непостоянная Юлия уже и в тот вечер не думала о нем. Подобно всем женщинам, склонным к чувственным наслаждениям, она, быть может, и не отказалась бы удовлетворить желаниям Луция Виниция и отдалась бы ему, как Децию Силану, или по капризу, или чтобы выразить свою благодарность, если бы обстоятельства не удалили ее так неожиданно и скоро из Байи. Но теперь ей казалось, что происшествия дня слишком утомили ее, и, вспомнив о своем красавце анагносте, ревность которого не укрылась от нее, она почувствовала необходимость видеть его близ себя и слушать его сладкое пение. Расположившись на раззолоченном и мягком ложе, стоявшем в комнате, примыкавшей к ксистусу – известной уже нам галерее – и наполнявшейся через открытые окна благоуханием тропических цветов, склонив на белоснежные руки свою красивую голову, черные косы которой, спускаясь по плечам, падали на колонны из слоновой кости, украшавшей ложе, Юлия позвала Эвноя, эфиопского невольника, который поспешил явиться на ее зов.

– Пошли ко мне Амианта, – приказала Юлия.

Спустя несколько минут красивый анагност стоял перед своей госпожой. Несчастный юноша был заметно расстроен: забота и печаль морщили его лоб и выражались в его невеселом взоре. Увидев Юлию в сладострастной позе, он опустил глаза, краска стыдливости покрыла его щеки, и он, глубоко вздохнув, молча ждал ее приказания.

– Возьми цитру, мой маленький Амиант; ударь по ее струнам своими пальцами и спой мне сладкую песню своей родины: мне хочется слушать тебя.

И Амиант повиновался, но его рука была менее послушна, выдавая волнение его души. Дрожавшими пальцами он тронул струны и после печальной прелюдии попробовал спеть те нежные строфы, которые когда-то вылились из пламенной груди лесбийской поэтессы:

Плеяды уж заходят,
И скрылася луна,
Бегут часы, и полночь
Настала. Я одна
Лежу, глаз не смыкая,
Тоскуя и рыдая.

И молодой человек, не будучи в состоянии подавить своего волнения и своей грусти, сам заплакал. Юлия, не смотря на певца и будто не замечая его слез, спросила:

– Чья эта песня?

– Лесбийской Сафо; эта песнь о ней самой, – отвечал прерывавшимся голосом белокурый анагност.

– Но ты плачешь, Амиант, – заметила Юлия, бросив взор на анагноста.

– Да, плачу над самим собой, – прошептал красавец-певец, и цитра выпала из его рук на мягкий ковер.

– Подойди ко мне, мой маленький Амиант, и скажи мне причину твоих слез.

– Не могу, госпожа.

– Скажи, я этого желаю.

Амиант упал перед ней на колени, и слезы неудержимо полились из его глаз. Юлия, протянув к нему свою руку и положив ее на его лоб, приподняла его голову и, глядя ему в лицо, спросила нежным голосом:

– И мне не хочешь ты сказать причины своего горя?

– Ты прикажешь убить меня, о моя божественная повелительница.

– Не бойся, юноша.

– Прошлую ночь я готов был убить Луция Виниция.

– Я это знаю.

- Он был у твоих ног.
- Точно так, как ты теперь.
- Потому что он любит тебя.
- А ты разве не любишь меня?
- Но он имеет счастье быть любимым тобой.
- Кто сказал это тебе?..

Анагност едва не лишился чувств при этих словах, так приятно было ему услышать из уст самой Юлии, что ее сердце не отвечает на чувство, питаемое к ней молодым патрицием.

– Позволишь ли ты мне, о моя божественная повелительница, – осмелился спросить Юлию отуманенный страстью Амиант, – боготворить тебя всегда так, на коленях, боготворить, как божество моей души?

Юлия не ответила, но окинула юношу таким сладострастным взглядом и улыбнулась так нежно, что, очарованный ее взглядом и улыбкой, он схватил обеими руками ее белую ножку, свесившуюся с постели и едва прикрытую вышитой драгоценными камнями туфлей, и запечатлел на ней самый горячий поцелуй.

Это не рассердило Юлию, и она не отдернула своей ноги. Юлия поступила в данном случае так, как поступила бы на ее месте почти любая римская матрона того времени. Описывая оргии, происходившие в Риме накануне праздника Венеры-родительницы, я упоминал уже о том, что римские женщины высшего общества охотно забавлялись тайным образом любовью к ним вольноотпущенников и даже невольников, что, разумеется, не мешало этим матронам слыхать публично любовницами молодых патрициев. Пример шел сверху.

Я уже говорил о старшей Юлии, дочери Августа; ее дочь обещала, в свою очередь, если не превзойти ее, то во всяком случае не отстать от нее. Образованный и острый ум, начитанность, роскошь, ее окружавшая, словом – все в ней и около нее кружило головы тем, кто приближался к ней.

В моем рассказе я несколько не преувеличиваю действительности, и пусть не удивляется читатель той поощряющей фамильярности, какую допускала себе ветреная супруга Луция Эмилия Павла в своем обращении с красивым и юным анагностом, явившимся в ее дом по желанию враждебной ей Ливии Августы.

– Теперь иди, мой милый мальчик, – сказала наконец Юлия Амианту, – иди и найди покой, – что тебе необходимо, – в благодетельном сне.

И красавец анагност ушел от нее счастливым. Он скрыл от Юлии и поручение, данное ему Ливией при отправке его в дом Луция Эмилия Павла, и письмо, посланное им Ливии: он думал, что подобное открытие погубит его. С другой стороны, он дал себе слово, что сделанный им донос, и то не во вред Юлии, а одного лишь Луция Виниция, как увидит читатель далее, будет первым и последним. «Пусть будет со мной, – говорил он сам себе, – чего желает судьба и что может сделать гнев Августы, но вредить Юлии я никогда не стану».

Теперь отправимся в Рим, куда спустя несколько дней по отъезде из Байи прибыл Луций Виниций.

Я уже говорил, что Луций Виниций был образованный и изящный молодой человек, принадлежавший к высшему обществу и находившийся в дружеских отношениях с самыми известными личностями Рима. Друг Луция Эмилия Павла, он был постоянным посетителем его дома и вместе с тем был принят и в семействе самого Августа, относившегося к нему очень благосклонно. Вот почему Юлия желала, чтобы он принял на себя труд упросить ее деда дозволить ей съездить в Соррент для свидания с братом.

Приехав в Рим, Луций Виниций, хорошо знавший сильное влияние Юлии на сердце Августа, поспешил на Палатин, к ней на поклон. Ей первой объяснил он цель своего прибытия в столицу и молил ее, льстя ее доброму сердцу, промолвить слово в пользу Юлии перед Авгу-

стом. Ливия, притворившись ничего не знающей, выразила готовность помочь осуществлению желания Юлии и просить своего мужа, чтобы он дозволил своей внучке видеться с братом.

Все сделалось, как желала хитрая Ливия Друзилла.

После своего визита к императрице Луций Виниций не замедлил представиться Августу.

Совершенно иного рода был прием, сделанный ему императором. Увидев Виниция, он нахмурил брови и резко спросил его:

– Не тот ли ты Луций Виниций, отец которого, Луций, друг Августа?

При этом вопросе, произнесенном тоном явного упрека, молодой патриций сильно смутился, предчувствуя бурю, готовую разразиться над его головой.

Август продолжал:

– Не всегда ли ты пользовался в семействе Августа протекцией и милостями?

– О цезарь, разве когда-либо я сделал что-нибудь такое, что служило бы доказательством моей забывчивости и неблагодарности? – робко спросил Луций Виниций.

– Еще недавно ты отнесся слишком равнодушно к достоинству и доброму имени моего семейства.

Молодой патриций поднял на императора взор, как бы желая спросить его и, очевидно, не догадываясь о том, на что намекал Август.

Август продолжал:

– Когда в ночное время, в которое все честные юноши успокаиваются в своих домах от дневного труда, ты в Байе проникаешь тайно в дом моей внучки и остаешься там долгие часы, давая людям повод думать, что она принимает тебя с бесчестным намерением, тогда ты, Виниций, не помнил о том, что ты порочил мой дом, так как Юлия принадлежит к моему семейству.

– Божественный цезарь... – пролепетал в страхе Виниций.

– Читай, – прервал его Август, давая ему в руки дощечки с письмом Амианта, имя которого Ливия позаботилась стереть. Письмо было написано на греческом языке и заключалось в следующем:

«Луций Виниций, молодой патриций, поздней ночью пришел тайным образом на виллу и долгое время разговаривал вдвоем с женой Луция Эмилия Павла, которую он осаждает своими нахальными любезностями, надоедающими, однако, Юлии и ей неприятными, как говорит молва».

– Это правда, цезарь, я не отрицаю факта, что в ту ночь я явился к ней по поручению ее брата, Агриппы Постума, с которым я виделся утром того же дня, и божественная Юлия, в свою очередь, поручила мне просить тебя дозволить ей посетить брата в Сорренте.

– Это можно было удобнее и приличнее сделать днем, – заметил Август, не изменяя серьезного тона. – Юлия поедет в Соррент, – продолжал он, – но ты останешься в Риме, где тебя могут вылечить синеусские воды.

Проговорив это, он быстро повернулся спиной к Виницию и вышел из комнаты, оставив молодого патриция совсем уничтоженным.

Слова Августа были приказанием, быть может, и угрозой, так как в Синеуссе, городе, принадлежавшем провинции Нация и находившемся вблизи Рима, были минеральные воды, будто бы возвращавшие разум тому кто его потерял⁴, и Август своими словами дал понять Луцию Виницию, что тот, кто осмеливается ухаживать за его внучкой и подвергать ее имя дурной славе, совершает поступок, который он считает покушением на достоинство и честь императорской фамилии.

Как бы то ни было, было ли это приказанием или угрозой, но в ту минуту Луций Виниций не осмеливался нарушить ни того, ни другого.

⁴ Синеусским водам, кроме силы излечивать безумных, приписывалось еще свойство лечить женское бесплодие.

Агат Вай выехал обратно в Байю в тот же день и повез позволение Юлии съездить в Соррент; это позволение было выражено в письме Августа к Публию Овидию Назону, которого император любезно просил сопутствовать его внучке в ее поездке к брату, Агриппе Постуму.

Этим Август исполнял лишь желание своей жены Ливии.

Глава третья

Реджия

Читатель, вероятно, помнит наш рассказ о том, как старшая Юлия, мать Юлии, жены Луция Эмилия Павла, Агриппины, жены Германика, и Агриппы Постума, оставила остров Пандатарии, свое первое место ссылки, и, сопровождаемая Фабием Максимом и Овидием, отправилась в Реджию на императорской военной либурнике.

Путешествие это, в условиях мореплавания того времени длившееся несколько дней, было совершено без всяких особенных приключений. Либурника, благодаря дружной работе сильных гребцов и попутному ветру, вздувавшему ее паруса, быстро скользила по спокойной поверхности моря, и даже опасный переход между Сциллой и Харибдой был пройден ею очень счастливо, так что несчастной дочери Августа казалось, будто и сами стихии, благоприятствуя ей, присоединились к ее друзьям, чтобы вместе с ними возбудить в ней надежду на скорое улучшение ее участи.

Несмотря на все это, ее беспокоила мысль о переселении в Реджию, что удаляло ее еще более от Рима и дорогих ее сердцу и вместе с тем разбивало в ней надежду на близкий конец ее страдальческой жизни. И когда военная либурника, быстро продвигаясь вперед, оставила за собой Соррент, где жил, также в изгнании, сын ее Агриппа Постум, и проходила мимо Салерно, Амальфи, Песто и прочих городов и сел, живописно разбросанных по морскому берегу и отражавшихся в прозрачной воде, Юлия не могла удержать слез, как будто она навсегда прощалась со всеми этими чудесами моря и земли.

Овидий, тронутый грустным настроением и слезами своей Коринны, не сумел сдержать вполне клятву о сохранении в тайне замысла его друзей, оставленных им на Пандатарии, и довольно ясными намеками дал ей понять, что они не случайно все вместе прибыли из Рима и что она видела их не в последний раз, но что скоро и, быть может, скорее, нежели она думает, они будут близ нее. Намекнул он ей и на то, что Луций Авдазий не случайно, прощаясь с ней, клялся быть ее преданным на жизнь и на смерть.

Таким образом, с одной стороны убаюкиваемая сладкими мечтами, с другой – мучимая печальными предчувствиями, отверженная жена Клавдия Тиверия Нерона прибыла в город Реджию, долженствовавший с этой минуты быть ее темницей.

Глядя издали на серые и мрачные башни и на скалу Агх, грозно возвышавшуюся в полном вооружении, Юлия почувствовала стеснение в груди; при этом ее стала еще более мучить мысль о необходимости близкой разлуки с верными и преданными ей и ее семейству друзьями, Фабием Максимом и Овидием, и быть вновь оставленной под надзором чужих и ей совершенно незнакомых людей, которые, быть может, из желания заслужить благоволение своего господина станут обращаться с ней со всей строгостью, предписанной законом по отношению к надзору за лицами, находящимися в ссылке.

Овидий и Фабий также не могли подавить в себе печального чувства, овладевшего и ими в конце путешествия; но, несмотря на это, они старались успокоить несчастную женщину, уверяя ее, что намерения Августа при перемене места ее ссылки заключались не только в том, чтобы сделать удобнее ее жизнь, но и в том, чтобы увеличить ее свободу, так как в Реджии ее темницей будет целый город.

Реджия, расположенная в конце Аbruццы, находится в Мессинском проливе, против Сицилии, берега которой в этом месте представляют великолепный вид. Город этот был основан людьми, пришедшими с востока; некоторые приписывают его основание халдейцам. Вна-

чале существовала тут аристократическая республика, которая своим процветанием обязана была сперва законодательству Каронды⁵.

Чтобы рассеять грустные мысли, каким отдалась Юлия при виде Реджии, Овидий стал занимать ее внимание окружавшими их в ту минуту предметами.

– Когда-то этот берег, – сказал он, указывая по направлению Мессины, – составлял одну общую равнину вместе с той, где находится ныне Реджия; кто знает, какие ужасные перемены в природе, какие землетрясения и катаклизмы открыли доступ водяному потоку, разделившему Сицилию с материком.

– Вергилий Марон, – заметила на это образованная дочь Августа, знавшая не хуже Овидия, что вся местность, бывшая в ту минуту перед ее глазами, была результатом сильного катаклизма, – упоминает об этом грандиозном явлении в своей «Энеиде».

Тут Юлия проговорила то место из «Энеиды», где сказано поэтом, что «древнее предание гласит, будто Сицилия была когда-то соединена с материком, от которого ее оторвала впоследствии сила времени, бури и землетрясения. Разъяренное море так било и рвало землю, что наконец отделило Сицилию, омывая с тех пор те поля и города, которые после катаклизма оказались у берега пролива»⁶.

– Впоследствии, – продолжал Овидий, – эту страну разоряли не столько стихии, сколько тираны. О Дионисии, тиране сиракузском, рассказывают, будто он, желая укрепить свой союз с жителями Реджии, просил у них одну из их девушек себе в жены, и когда ему ответили, что он достоин лишь дочери палача, то он, придя в ярость, поклялся отмстить дерзкому народу осадил Реджию и после одиннадцатимесячной упорной защиты овладел ею, убив варварским образом Дитима, защищавшего город.

– Позднее этот город подчинился нашей власти, – сказал в свою очередь Фабий Максим. – Не помню, у Ливия или в сочинениях другого писателя говорится о том легионе, который, будучи возбужден примером мессинских мамертинян, возмутился и овладел Реджией, держа ее в своих руках целых десять лет, пока не был уничтожен нашими войсками, причем оставшиеся в живых из лиц, принадлежавших к этому легиону, были приведены в Рим военнопленными и преданы смертной казни.

– Мой родственник, Юлий, – продолжала дочь Августа, – возобновил Реджию, разрушенную и опустошенную землетрясением, а отец мой делает ее моей темницей.

– Но тут ты будешь жить свободнее, чем на Пандатарии, – заметил Фабий Максим.

– Я скоро узнаю это на деле.

Так разговаривали между собой Юлия, Овидий Назон и Фабий Максим, приближаясь к месту, назначенному милостью Августа для своей дочери. С этим местом я считал необходимым познакомить читателя, так как в нем имеет произойти один из главных эпизодов моей истории.

Овидия Назона и Фабия Максима мы находим уже в Риме, возвратившимися из морского путешествия; что же касается старшей Юлии, принятая в Реджии со всем должным ей уважением местным пропретором и высшими лицами города и колонии, она действительно увидела,

⁵ Каронда – знаменитый законодатель родом из Катании, где жил около 650 года до н. э. Сведений о нем имеется не много. Аристотель говорит, что он дал первые законы жителям Сицилии, продиктовав их в стихах, как делали это обыкновенно древние законодатели, – с той целью, чтобы они лучше запоминались и могли быть пропеты юношами. Законы Каронды уважались и в самой Греции и были приняты в Каппадокии; среди них замечателен тот, по которому считалось бесчестием вступать во вторичный брак при живых детях. Изгнанный из своей родины, Каронда укрылся в Реджии, где, как говорит предание, убил себя своей собственной рукой в наказание за то, что преступил один из изданных им же законов, запрещавший гражданину являться в народное собрание вооруженным.

⁶ Клавдион, Плиний, Юстин, Диодор, Страбон и другие древние писатели считали, что отделение Сицилии от итальянского материка следует приписать или силе морских волн, или подземному огню, или землетрясениям. Новейшие геологи принимают Мессинский пролив за глубокую долину, разделяющую собой горные хребты Сицилии и Италии и образовавшуюся одновременно с этими хребтами.

что ее положение улучшилось: если ей не было дозволено выходить из-за городских стен, то зато она могла совершенно свободно ходить и ездить по всему городу.

И бедная Юлия, столько выстрадавшая на Пандатарии, почувствовала себя возвращенной к новой жизни, и ее сердце вновь открылось надежде на близкое окончание наказания, особенно после того, как была прислана ей Фебе. Даря Юлии эту невольницу, Ливия выражала ей свое участие и намекала на то, что она употребит все свое старание, чтобы возратить ей, Юлии, прежнюю свободу.

Правда, что Юлия была легкого, достойного упрека поведения и, скажу более, она вполне заслужила за совершенные ею в Риме скандалы строгого наказания со стороны своего отца; но, как часто встречается у женщин страстного темперамента, она была добра и вместе с тем в высшей степени привлекательна, вследствие чего в нее влюблялись не только молодые люди, но и почтенные старики; последние, подобно первым, запутывались в ее сетях и очаровывались ею до безумия.

Невольнице Фебе она была очень рада, не воображая, разумеется, что эта девушка прислана к ней хитрой и злой Ливией с целью следить за ней и за всем, что делается вокруг нее.

Но Ливия не успела достаточно исследовать сердце и душу своей невольницы и ошибалась, предполагая, что Фебе способна на ту гнусную обязанность, какую возложила на нее. Она заметила в ней смиренность и чрезвычайную послушность; кроме того, ей казалось, что ласки и щедрые подарки, какими она награждала Фебе, не были в данном случае семенем, упавшим на неблагодарную почву, и давали ей право быть уверенной в неограниченной преданности к ней молодой невольницы.

Фебе же, напротив, послушная Августу и его супруге, из уважения к ним и из страха, мечтала, подобно Неволе Тикэ, лишь о часе обещанной ей свободы и с этой мечтой отправилась в Реджию. Тут, явившись к Юлии, своей новой госпоже, она опустилась перед ней на колени и, целуя ей руку, подала хирограф Ливии, по которому она становилась невольницей Юлии. Дочь Августа со свойственной ей добротой поспешила поднять Фебе, и когда последняя, тронутая такой милостью, взглянула на прекрасное еще лицо Юлии, то сразу почувствовала к ней сильную симпатию; под влиянием этого чувства и вместе с тем под влиянием застенчивости лицо Фебе в эту минуту покрылось краской и сердце сильно забилося в ее груди. Быть может, в ее душе в это время боролись противоположные чувства; быть может также, что тут она давала себе клятву не способствовать лукавой политике той женщины, которая ее сюда послала.

Достаточно было нескольких дней, чтобы взаимная симпатия между Юлией и Фебе пустила в их сердцах глубокие корни: несчастье скоро сближает людей. Злополучная жена Тиверия тотчас сделала Фебе своей наперсницей и поверила ей свое горе, а Фебе, в свою очередь, воспользовавшись первой удобной минутой, передала Юлии главные эпизоды своей жизни и все надежды своего сердца.

Однажды, когда Юлия с откровенностью, более обыкновенной, передавала Фебе как свое горе, так и свои надежды на скорое освобождение и на лучшее будущее, добрая девушка, не будучи в состоянии скрыть перед госпожой своих печальных опасений, заплакала, и крупные слезы, вырываясь из ее глаз, падали на руку Юлии, сжимавшую в эту минуту руку своей любимицы.

– Зачем плачешь? – спросила ее Юлия. – Разве тебе неприятно знать, о Фебе, о своем близком счастье? А разве ты не будешь счастлива вместе со мной в Риме, в моем собственном доме? Там ты получишь от меня свободу, но с тем, чтобы ты обещала не оставлять меня.

– О, божественная Юлия... – начала было милетская девушка, но новые слезы, душившие ее и лившиеся из ее глаз, мешали ей продолжать.

Юлия, прижав ее голову к своей груди, спросила у нее нежно:

– О чем горюешь, мое милое дитя? Скажи скорее: разве я не друг тебе?

И Фебе, успокоившись немного от неожиданного прилива чувствительности, начала рассказывать своей госпоже, с какой целью отправила Ливия ее, Фебе, в Реджию, что следовало ей доносить Ливии о действиях Юлии и через кого пересылать письма. Затем, не скрыв от любимой ею Юлии того, что она поклялась самой себе не исполнять поручения Ливии, хотя бы это стоило ей, Фебе, жизни, молодая девушка сообщила и о том, что во время ее пребывания в императорском семействе она убедилась в непримиримой ненависти Ливии и в ее стараниях усиливать в душе Августа неудовольствие к своей дочери; но, как бы желая умалить неприятность такого рода открытия, Фебе тут же передала Юлии и все то, что знала о симпатиях народа к несчастной дочери императора и о ходатайстве и заботе ее друзей облегчить ее участь, смягчив гнев цезаря.

Обо всем этом Юлия уже знала со слов Овидия и Фабия Максима, сказанных ей недавно перед тем этими ее спутниками при переезде с острова Пандатария в Реджию, но так как Надежда есть такая богиня, которая остается при нас до последней минуты, то Юлия пыталась рассеять настойчивые опасения Фебе, хотя из рассказа последней была убеждена в непримиримой ненависти к ней как самой Ливии, так и Тиверия.

Таким образом проходили для них дни между страхом и надеждой, в ожидании лучшего, а между тем симпатия друг к другу в них взаимно усиливалась.

В один прекрасный день при закате солнца они гуляли вместе по морскому берегу и ворковали между собой о занимавших их предметах, подобно двум голубкам.

Солнце окунулось в море; легкий ветерок колыхал морскую поверхность, и небольшие волны, следуя одна за другой, покрывали своей пеной береговой песок и, журча по нему, возвращались обратно, заставляя по временам двух прогуливавшихся красавиц отступить от берега, чтобы не быть омытыми шаловливой волной.

Следивший за ними заметил бы, что, находясь близ места, где скала выступала к морю, они вели особенно оживленный разговор, и вели его почти шепотом, как бы боясь, чтобы их не подслушали *exhibitores* – часовые, сторожившие на вершине башенок, стоявших у берега, недалеко от упомянутого места.

Зайдя за развалины древней крепости, они увидели какого-то рыбака, который, выскочив из лодки, шел к ним навстречу.

Обе женщины остановились, и рыбак подошел к ним. Фебе, бросив на него пристальный взгляд, задрожала и могла только вскрикнуть:

– Тимен!

Это действительно был Тимен – бесстрашный пират греческих морей.

Юлия, зная о нем из рассказов Фебе, не смутилась при его имени и совершенно спокойно обратилась к нему со следующим вопросом:

– Что тебе нужно, ужасный?

– Да, ужасный, о Юлия, ужасный для твоих врагов. Я и твои верные друзья явились сюда; они вырвут тебя из незаслуженного заточения, которое грозит сделаться для тебя вечным, я же хочу возвратить себе женщину, долженствующую сделаться моей женой; не так ли Фебе?

– Тимен!.. – воскликнула страстно девушка, к которой был обращен этот вопрос, и в то же мгновение, сжимая бессознательно руку Юлии, она скрыла за ней свое покрасневшее от стыда лицо.

– Сегодня я явился к вам на несколько лишь минут, – продолжал корсар, – чтобы сказать тебе, о Юлия, что твои друзья, которым известно, что ты сослана сюда навсегда, желают видеть тебя завтра же свободной. Им не осталось другого выбора: Агриппа Постум и Юлия, дети твои, просят тебя согласиться на свое освобождение. Когда ты оставишь Реджию, к тебе присоединится и сын твой из Соррента; к этому все уже приготовлено. Возле камня, где привязана моя лодка, найдешь хирограф от своих друзей.

– Хорошо, – отвечала дочь Августа, – так до завтрашнего дня.

– В этот час и на этом самом месте, – добавил пират.

– Уйди же теперь, так как часовой смотрит пристально сюда.

И рыбак, сняв с головы петаз⁷ и отвесив дамам глубокий поклон, поспешил в лодку, отвязал канат и взмахнул веслами, потом под влиянием будто бы неожиданной мысли, вновь обернувшись к Юлии, проговорил:

– А ты отдашь мне завтра Фебе свободной?

– Отдам.

– До завтра! – повторил рыбак и, чтобы не возбудить подозрений, медленно отчалил от берега, как будто он случайно выходил из лодки. Гребя веслами, он – как делают до сих пор рыбаки всех стран – запел, и плавные, меланхолические звуки греческой морской песни раздались в вечернем воздухе.

А часовой, следивший за гребцом, в самом деле думал, что это рыбак, которому от скуки пришла охота поговорить со знаменитой пленницей; в этом убеждало его то, что лодка проходила мимо расставленных вблизи берега рыболовных знаков, а сидевший в ней поправлял закинутые у этих знаков сети. Через несколько минут рыбак и его ладья скрылись за извилистым берегом и древними развалинами, а обе дамы пошли в обратный путь, после того как с особым любопытством наблюдали за маневрами корсара.

Фебе, прежде нежели отойти от берега, постаралась незаметным образом взять хирограф у того камня, на который указал им Тимен.

⁷ Петаз (petatus) – обыкновенная войлочная шляпа с низким дном и широкими полями, которую римляне заимствовали у греков.

Глава четвертая

Фебе отпускается на свободу

Легко представить себе, какое сильное впечатление произвела на Юлию и Фебе вышеописанная сцена. Они возвращались домой молча, волнуемые обе различными мыслями и чувствами.

Когда Юлия пришла в свою комнату, Фебе достала хирограф и вручила его Юлии, которая, развернув его, прочла следующее:

«Семпроний Гракх шлет привет Юлии.

Мачеха поклялась погубить тебя, мы же поклялись спасти тебя. Со мной будут Азиний Эпикад, парфянин, Сальвидиен Руф, Деций Силан, Луций Авдазий, Азиний Галл и другие решительные люди. Доверься рыбаку».

Прочтя это, Юлия приблизила хирограф к огню лампы, и через минуту он превратился в пепел.

Затем она сказала Фебе:

– Итак, завтрашний день будет для нас ужасен; готова ты к нему, Фебе?

– Готова: чем бы ни кончилась моя жизнь, я отдам ее за тебя, божественная дочь Августа.

– Не напоминай мне в эту минуту о моем отце, девушка. Я его любила, да, любила, как только может любить дочь своего отца; но он бросил мою мать, принес ее в жертву нашему смертельному врагу; он унизил мою мать, приняв на свое ложе Ливию. Вместе с моей матерью он оттолкнул от себя и меня, свою дочь; предал меня позору, разгласил обо мне по всем городам и весям как о самой худшей женщине; отдал меня и детей моих и Агриппы, так много способствовавшего увеличению его славы, на произвол такой гиены, как Ливия Друзилла, которая, предаваясь сперва сама разврату, в чем теперь попрекает меня, сделалась потом презренной сводницей для своего мужа, чтобы иметь право и свободу быть нашим палачом. Теперь, моя бедная Фебе, ступай в свою комнату и ложись спать, и пусть Геркулес пошлет тебе веселые сны.

Фебе, поцеловав почтительно руку своей госпожи, удалилась в свою каморку, которую, думала она радуясь, ей придется завтра покинуть навсегда.

Нет сомнения в том, что всю ночь Юлия и Фебе не смыкали глаз. Первая припоминала, вероятно, все события дня и, чувствуя себя накануне исполнения заговора, думала лишь о препятствиях к успеху и о том, что в случае неудачи ее положение еще более ухудшится. Препятствия под влиянием ночной темноты принимали в ее воображении гигантские размеры, и она, изыскивая средства побороть их, не могла успокоиться на своей постели, ежеминутно переворачиваясь с боку на бок,

...Подобно той больной,
Которая то на один, то на другой бок ляжет,
В надежде уменьшить свои страдания⁸,

как сказал наш великий поэт. Старания Юлии забыться и уснуть также были напрасны: чем крепче она закрывала свои глаза, тем беспокойнее был рой мыслей и забот, толпившихся в ее уме. Только на заре природа взяла свое, и Юлия, измученная думами, заснула.

⁸ Данте. Чистилище, гл. VI.

Совершенно другого рода заботы и мысли занимали Фебе. Опасения и опасности уменьшались в ее уме при воспоминании о бесстрашном Тимене, которого она никогда не переставала любить, даже и тогда, когда душа ее возмущалась той жестокостью, с какой он поступил с ней после того, как клялся ей в любви. Еще более: его измена, бесчестный и гнусный торг, предметом которого он сделал ее, были для нее поводом к усилению страсти. Кто объяснит загадочный сфинкс, каким представляется нам женское сердце? Кто перескажет тысячи причин, какие влюбленная женщина – а Фебе была страстно влюблена в пирата – умеет находить для извинения и даже для оправдания не только странного, но и жестокого поступка с ней ее возлюбленного? После этого понятно, что когда Фебе увидела Тимена готовым на решительную и отчаянную борьбу, чтобы вырвать ее из рабства и сделать ее навсегда своей, – да, сделать ее своей, так как он сам назвал ее сладким именем невесты, – то она безгранично радовалась тому, что сохранила к нему любовь, и приветствовала завтрашний день как самый лучший, самый счастливый в своей жизни.

Во время этих светлых и золотых мечтаний своего сердца Фебе вспомнила и о бедной Тикэ, оставшейся в Риме в семействе Августа, но эти воспоминания не были сильны и мучительны.

«Раз сделаюсь я женой Тимена, – говорила самой себе молодая девушка, – я стану побуждать его освободить и мою подругу». И это была добрая мысль: возвращение любимой ею Неволен Тикэ свободы, которую та потеряла по ее же вине, сделала бы Фебе веселой, счастливой. Затем воспоминания о подруге стали умяляться и рассеялись, как легкий дым в воздушном пространстве, уступив место более эгоистическим фантазиям; и когда вновь слышался голос Тикэ, напоминавший ей о ее долге, она старалась отогнать его, успокаивая себя более спокойными рассуждениями. «Да, наконец, – так рассуждала Фебе, – не имеет ли Неволея своего Мунация Фауста, любовь которого к ней никогда не изменялась? Не имеет ли она обещания свободы от самой внучки Августа?» О! Когда чувствуешь себя счастливым, тогда так легко рассуждать о несчастье других, и Фебе успокаивала себя надеждой, что и для ее Неволен скоро окончатся всякие заботы и страдания. Убаюкиваемая такими розовыми мечтами и такими сладкими надеждами, она незаметным образом отдалась объятиям Морфея.

На другой день, рано утром, Фебе встала живой, веселой и красивее обыкновенного; Юлия также, против обыкновения, проснулась рано и щелкнула пальцами, призывая к себе молодую девушку.

Когда Фебе вошла к Юлии в спальню, та была уже на ногах.

– Фебе, – сказала Юлия, – поспешим с туалетом, а ты возьми из шкафа одно из моих платьев, какое тебе лучше к лицу.

– Я?.. – спросила невольница с искренним удивлением.

– Да, ты; разве мы не должны идти сегодня к претору? Твой Тимен желает видеть тебя свободной, и я предупреждаю лишь несколькими днями его и твое желание; я хочу, чтобы обряд был совершен торжественно и без проволочки, теперь же. Если предприятие заговорщиков сегодня не будет иметь успеха, от чего да избавят нас боги, то это тебе сильно повредит, как невольнице, и тебе опасно оставаться ею.

При этих словах Фебе упала к ногам своей госпожи; она не умела выразить красноречивее этого свою благодарность.

Здесь не место распространяться о древнем рабстве, о чем, между прочим, я имел уже случай говорить подробно; лучше будет, если я познакомлю читателя с той формой, какая соблюдалась в Древнем Риме при даровании свободы невольнику или невольнице и какая была исполнена и по отношению к Фебе; упомяну разве сперва в нескольких словах о всех тех случаях, при которых невольник освобождался от своего ужасного положения.

Закон возвращал свободу невольнику, указавшему на убийцу своего господина, на грабителя, фальшивомонетчика и на дезертира. Женщина становилась свободной, если подвер-

гальса опасности быть изнасилованной своим господином. Главным образом невольник мог требовать свободы и в том случае, если его господин не пользовался своим правом над ним в течение известного срока. Но самым обыкновенным было отпущение на свободу невольника самим господином – *manumissio*, – для чего существовало три формы; *vindicta*, *censu*, *testamento*. Первая выражалась притворным заявлением невольника перед претором прав на свободу а господин тут же отказывался поддерживать свои права, вследствие чего претор распоряжался утверждением акта об освобождении невольника; две другие формы состояли в объявлении невольника свободным после уплаты ценза или по духовному завещанию.

В эпоху настоящего моего рассказа закон *Aelia Senita*⁹ создал полусвободу, которой пользовался бывший невольник без совершения установленных законом форм для освобождения или пользовался ею тогда, когда претерпел клеймение и тюремное заключение; такие полуневольники назывались *dedititii*.

Упомянутый закон и еще другой, носивший название *Fusia Caninia* и изданный четыре года спустя, созданы по желанию Августа с той целью, чтобы положить предел чрезвычайному числу освобожденных невольников. Сам Август был вынужден, нуждаясь в гребцах во время сицилийской войны, даровать свободу сразу двадцати тысячам невольников.

Претор, управлявший Реджией, предуведомленный Юлией, ждал ее и ее молодую невольницу в базилике, где обыкновенно творил суд. В настоящем случае, из угождения к Юлии, претор нарушал данный перед тем Августом приказ не отпускать на свободу ни одного невольника и ни одной невольницы, не достигших тридцатилетнего возраста, и даже распорядился, чтобы акт был совершен с торжественностью, достойной дочери императора. Гражданские и военные чины, извещенные претором, поспешили в базилику, чтобы присутствовать при манумиссии невольницы дочери Августа.

Величественной матроной вошла Юлия в святилище Фемиды, держа за руку милетскую девушку, сопровождаемая некоторыми из своих приближенных. При ее появлении в преторском зале базилики водворилась тишина; этим присутствовавшие выразили свое почтение несчастной изгнаннице, не перестававшей вместе с тем своей внешностью возбуждать удивление: Юлия блестела еще красотой, а величественное выражение и изящные черты ее лица указывали на ее высокое происхождение, избличая в ней дочь Августа. Смотря в эту минуту на Юлию, многие из зрителей невольно припоминали стих поэта Вергилия: *vera incusse potuit Dea*; и, действительно, своей гордо-изящной поступью и всей своей фигурой, окруженной как бы ореолом, она напоминала им свое божественное происхождение, действуя на их воображение и удивительными благоуханиями, которыми была пропитана ее одежда.

Молодая невольница с правильными и совершенными по красоте формами, отличающимися греческие статуи, с румянцем радости в лице, одетая в свою национальную крокоту – праздничный наряд шафранового цвета, носимый милетскими девушками в дионизиадские праздники¹⁰, и с головой, покрытой рикой – прямоугольным куском легкой материи, обшитым вокруг бахромой, отчего он назывался также *vestimentum fimbriatum*, – остановилась у подножья трибунала.

Если бы видел Тимен, как изящна и красива была его Фебе в эту минуту!

Тогда Юлия обратилась к претору с просьбой разрешить ей сделать девушку свободной по форме, предписываемой для этого законом, и, получив с должной в этом случае церемонией такое разрешение, она, вместо того чтобы положить свою руку на голову Фебе, как это обыкновенно делалось, – при этом голова невольницы брилась, чего Юлия по доброте своей к Фебе не пожелала, – положила ее на ее левое плечо и произнесла следующие священные слова:

⁹ Этот закон был издан в 757 году от основания Рима, а закон *Fusia Caninia* в 761 году.

¹⁰ Дионизиадские праздники (дионизиаки, дионизиады или дионизии) – в Древней Греции праздники в честь Бахуса, называвшегося также Дионисием. Эти праздники с особым торжеством праздновались преимущественно афинянами, у которых они происходили в начале года.

– Я желаю, чтобы эта женщина была свободна и пользовалась правами римского гражданства, – и, проговорив это, повернула девушку таким образом, что та вновь стала лицом к претору, который после этого, назначенной для этого обряда палочкой, называвшейся *vindicta* и служившей знаком власти, тронул трижды девушку, утвердив этим самую просьбу госпожи и объявив девушку свободной.

Такова была церемония, носившая название *manumissio*, утверждавшая за освобождаемым невольником или невольницей гражданские права невозвратным образом и делавшая лицо совершенно независимым. Тацит говорит даже, что только манумиссия посредством троекратного прикосновения упомянутой палочкой и выражала собой действительно полное освобождение невольника, делая его вполне независимым от прежнего своего господина.

Фебе со слезами благодарности на глазах поцеловала три раза руку своей великодушной благотворительницы. Затем она и Юлия вышли из базилики, поздравляемые и приветствуемые всем собранием.

Между народом, сочувствовавшим дочери Августа и поджидавшим на улице ее выхода из базилики, Фебе не заметила бедно одетой старухи; но эта старуха, удерживаемая вместе с прочими толпившимися у дверей базилики приставленной тут стражей, тотчас узнала милетскую девушку и, как будто довольная своим открытием, последовала за ней; и когда Юлия вместе с бывшей невольницей вошла в свой дом и скрылась в нем от оваций народной толпы, старуха, нисколько не стесняясь, вступила за ними на порог дома и готовилась войти в двери.

– *Save sanem! Берегись собаки!* – крикнул ей *ostiensis*, привратник дома; в эту минуту, действительно, большая дворовая собака, привязанная цепью к стене близ каморки привратника, бросилась на старуху и едва не укусила ее своими острыми зубами.

Но эта женщина, не смутясь грозившей ей опасностью, обернулась к привратнику и сказала ему:

– Отведи меня к той вольноотпущеннице, которая только что сюда вошла.

– Что тебе нужно от нее?

– Я не обязана говорить тебе, что мне нужно от нее; удержи собаку и дай войти мне.

Собака рычала и злобно смотрела страшными глазами на старуху.

– Кто ты такая? – спросил невольник.

– К чему тебе знать это?

– Клянусь Геркулесом, что не мне нужно знать это, а моим плечам, которые не желают знакомиться с плетью лорария.

Этот разговор был прерван явившимся номенклатором, который, в свою очередь, спросив незнакомую женщину, что ей нужно, после нескольких объяснений впустил ее в дом.

Когда Фебе, вызванная номенклатором в прихожую, увидела перед собой старуху, то в то же мгновение, как бы укушенная ядовитым жалом, воскликнула, побледнев в лице:

– Филезия!

– Да, фессалийская колдунья, как ты меня называла, – отвечала старуха и, схватив руку девушки, продолжала, не останавливаясь: – Что сделала ты с моим Тименом? Где Тимен? Ты это знаешь, ты, напоившая его зельем более сильным, чем мой.

Эти слова старуха проговорила грозным и повелительным тоном, страшно сверкая глазами.

– Тимен? – пролепетала с испугом вольноотпущенница. – Разве с ним случилось что-нибудь недоброе? Говори, Филезия.

– Да я разве знаю что-нибудь о нем? Смотри, Фебе, я оставила Адрамиту, где в его доме, с тех пор как он уехал, царят печаль и отчаяние, и пренебрегла бурями, лишениями и всеми опасностями, чтобы ехать отыскивать его. Да погибнет тот день, в который твои глаза и твой голос очаровали моего Тимена, не имевшего с той минуты покоя у себя в доме. Разве ты не знаешь, несчастная, чем ему грозит судьба и что я должна и желаю спасти его от самой судьбы?

Не скрывай же, скажи, если ты действительно любила его когда-нибудь, где Тимен? Где ты, там должен быть и он!

– Замолчи, говори тише, Филезия, если ты не желаешь его гибели.

Морщинистое и обезображенное злостью и страхом лицо пифии, казалось, будто бы прояснилось, и глаза ее загорелись дикой радостью. «Тимен, – думала она, – действительно тут; сердце мое меня не обмануло».

Фебе перешла в tablinum, куда за ней последовала и Филезия.

Здесь вольноотпущенница рассказала ей, каким образом только вчера вечером она увидела Тимена в первый раз после разлуки; передала Филезии свой короткий разговор с ним и его скорый уход, так что она не успела узнать о его местопребывании. Но она умолчала при этом о его намерениях и о том, в каком предприятии он должен был принять участие в тот день.

– Следовательно, он вернется, – прошептала как бы про себя Филезия; затем, опустив голову, она проговорила своим обыкновенным тоном пророчества: – Дитя, он и ты, вы хотите бороться со своей судьбой: она поднимается ураганом и сметает все, что попадает ей по пути с целью замедлить ее быстрый бег.

– Так что же? Пусть она захватит, сомнет и уничтожит меня; все равно, без Тимена невозможно для меня существование.

– Значит, ты любишь очень сильно Тимена?

– Я сказала уже, что люблю его более жизни.

– Смотри же, чтобы и он не потерял ее из-за тебя.

– Питая к нему материнские чувства, ты рисуешь в своем воображении опасности, которые на самом деле ему не грозят, предвещаешь несчастья, которых с ним не случится.

– Разве ты забыла, что будущее открыто для меня благодаря моему искусству и знанию?

– А разве ты никогда не ошибалась в своих ужасных предсказаниях?

– Никогда! – воскликнула Филезия, кивая отрицательно головой.

– Ты и мне также предсказывала однажды вещи очень неприятные и притом сомневалась в любви Тимена ко мне.

– Я говорила лишь, что он любит тебя по-своему; разве это была неправда? Я называла его непостоянным, как море, и разве все, что случилось с тех пор, не подтверждает моих слов?

– Ты говорила Тикэ, что ее судьба лучше моей: она до сих пор невольницей в Риме, тогда как я уже свободна; знаешь ли ты это?

Филезия разразилась резким смехом и отвечала тоном, не допускавшим сомнения:

– Свободна... Бедная Фебе!.. А я тебе все-таки повторяю, что и теперь не променяю участи Тикэ на твою участь.

– Но отчего, добрая Филезия, ты так сильно не расположена ко мне?

– Кто сказал тебе это? Кто сказал, что я не люблю тебя? Разве ты не дорога Тимену? Но разве в моей воле устранить назначенное судьбой?

Бедная девушка стояла, пораженная роковыми предсказаниями ламийской вещуньи.

Прошло несколько минут в глубоком молчании, после чего Филезия, погруженная в свои думы, подняла на вольноотпущенницу глаза и спросила:

– Что намеревается он делать? И на что ты сама решилась?

– Что намерен он предпринять, я не знаю, но я решусь на то, чего он пожелает.

– В таком случае я подожду, – сказала в заключение Филезия и направилась к выходу, где дворовая собака вновь приветствовала ее своим рычанием.

Вольноотпущенница осталась смущенной, взволнованной предсказаниями колдуньи, но остерегалась сообщить эти предсказания Юлии, не желая никаким образом помешать предприятию пирата и его друзей.

Не с осуществлением ли этого предприятия достигала она и своего собственного счастья?

Глава пятая

Похищение

Из рассказа Неволен Тикэ навклеру Фаусту о своей жизни читатель узнал, что Филезия, бывшая родом из фессалийского города Ламии и отличавшаяся знанием некромантии и всякого рода гаданий и приготовления любовного зелья и разных талисманов, была, собственно, за эти свои качества куплена пиратом Тименом.

Читатель, имевший терпение следить за моим рассказом, припомнит также, что Тимен уважал и любил свою колдунью и, предпочитая ее всем прочим своим невольникам и невольницам, поручил ей надзор за ними; никогда он не пускался на какое-нибудь рискованное предприятие, не посоветовавшись прежде с Филезией. Филезия, в свою очередь, полюбила пирата и так сильно привязалась к нему, что готова была защищать его, как львица своего львенка. Она постоянно возилась со своими травами и горшочками; по ночам смотрела на небо, советуясь со звездами, или ходила по холмам и горам, собирая травы и корни при лунном свете, и вызывала своими странными заклинаниями разных духов; изучала море и гадала по внутренностям животных, принесенных ею в жертву богам. Ее предсказания всегда сбывались по отношению к Тимену или потому, что она обладала способностью предугадывать, свойственной лицам с чуткой нервной системой, или умела давать советы и ответы, которые, вследствие своей неопределенности, легко допускали двойственное объяснение. Таким умением говорить отличались, вообще, сибиллы и пифии¹¹ древнего времени, причем их изречения часто сопровождались конвульсиями и припадками исступления и помешательства и почти всегда были так неопределенны, что легко истолковывались в желаемом жрецами смысле.

И Филезия также имела все внешние признаки организации чрезвычайно нервной. Лицо ее было необыкновенной худобы с выдавшимися скулами и сухими висками, глубоко впалые глаза, быстрые и угловатые движения и жесты, высокого роста и высохшая, как скелет, с речью живой и резкой. Несмотря на это, в обыденной жизни ее физиономия не была жестокой и неприятной, а взгляд ее не был злым; вообще, ее лицо и обращение с окружающими ее лицами не изобличали в ней недоброго сердца, и ее голос нередко делался мягким и нежным. Словом, никто и никогда не находил в ней признаков тех ужасных качеств, какими отличалась ее мать Эриттона.

Едва лишь Тимен отплыл из Адрамиты, не обратив на этот раз внимания на увещания старухи, не перестававшей повторять ему, что на чужбине он найдет свою гибель, как она почувствовала себя оставленной и одинокой на земле. На его возвращение она уже более не рассчитывала; к чему же, в таком случае, было ей оставаться в Адрамите? Чтобы служить другим? Нет! Лучше умереть, и к этому она приготовилась, имея при себе, с первого же дня отъезда Тимена в Италию, яд самый сильный и убийственный, который она сумела добыть из известных ей трав и который решила проглотить в ту самую минуту, когда увидела бы, что она бесполезна для своего господина, или когда судьба бросила бы ее рабой в чужие руки.

Будучи уверена в том, что Тимену грозит страшная опасность на чужбине, она не могла оставаться в его адрамитском доме и ушла оттуда. Ее видели бежавшей, подобно безумной, по песку морского берега, глядящей на бесконечную морскую даль, как будто искавшей тот парус, который уносил от берегов Греции в Италию Тимена, а вместе с ним и ее сердце, разрывая, таким образом, последнюю нить, привязывавшую несчастную Филезию к земной жизни.

¹¹ Пифия – этим именем греки называли вообще всех тех женщин, которые занимались ворожбой, потому что бог Аполлон, которому приписывали дар предсказаний, носил название Пифия.

Молчаливой и угрюмой шла она вперед по песчаным и каменистым дорогам и по узким тропинкам, выбитым по приморским скалам, часто сбиваясь с пути, терпя голод и страдания, довольствуясь небольшим куском хлеба, взятым ею с собой, каким-нибудь плодом, сорванным по дороге с дерева, да водой ручейка, пробежавшего по песку в море.

Прошло несколько дней такого бродячего существования, пока она дошла до ближайшего порта Элея в иохийской Эолиде. Там стояло несколько коммерческих судов, уже нагруженных товарами и готовых к отплытию в Италию. Филезия подошла к хозяину одного из них.

– Сынок, – сказала она ему, – желаешь ли ты знать свою судьбу? Желаешь ли ты знать от меня, будет ли счастливо твое путешествие?

– Откуда ты, женщина? – спросил вместо ответа хозяин судна.

– Моя родина Ламия; оттуда приходят женщины, отгадывающие будущее. Я одна из них.

Фессалия, как, кажется, я уже говорил об этом в настоящем рассказе, действительно, славилась в то время своими магами и ворожеями. Хозяин судна, к которому обратилась Филезия, зная хорошо, что товар, купленный им в Греции и в прочих местах на востоке и везомый в Италию, составляет все его состояние, поспешил спросить старуху:

– Чем должен буду я заплатить тебе, о пифия, за твое гадание?

– Уголком на твоём судне.

– Но я отправляюсь в Реджию, лежащую отсюда далеко, по ту сторону Сциллы и Харибды.

– Не в Италии ли Реджия?

– Да, в Италии.

– По дороге к Риму?

– Да ведь все дороги, как говорит пословица, ведут в римскую столицу.

– Ну, так дай посмотреть мне на твою руку.

И купец протянул ей свою правую руку. Взяв ее, Филезия осмотрела с вниманием ее верхнюю сторону и ладонь, пересчитала линии на ладони и заметила их направление; затем, подумав немного и отбросив, улыбаясь, руку купца, сказала ему:

– Отправляйся в путь; Эол выпускает на свободу свои ветры, чтобы вздуть твои паруса; на носу твоего судна сидит Фортуна и даст тебе прибыльный торг. Не теряй времени, какое остается у тебя впереди: лови свое счастье. Понимаешь?

– Я уйду сегодня же, при солнечном заходе.

– Теперь заплати мне условленное; тебе выгодно, потому что со мной Фортуна.

При этих словах Филезия достала из-под верхнего платья бронзовую женскую фигурку, изображавшую непостоянную богиню счастья, и показала ее хозяину судна, который, очевидно, верил предсказаниям фессалийской колдуньи.

– Ступай же, матушка, на мое судно; мои люди встретят тебя хорошо, а ты пока подкрепи свои силы.

Действительно, вечером того же дня судно вышло из порта по направлению к Италии, унося туда же и Филезию, фессалийскую колдунью.

Вот каким образом в тот самый день, когда Фебе получала из рук Юлии, дочери императора, свою свободу, Филезия прибыла в Реджию, где простилась с хозяином судна, счастливо достигшим берегов Италии при содействии попутного ветра, неизменно дувшего всю дорогу.

Здесь она надеялась найти средство достигнуть поскорее Рима, так как она была убеждена, что там встретит Тимена, зная, что он должен находиться в том месте, где живет Фебе, а последняя, по предположению Филезии, жила в Риме.

Случилось так, что, едва вступив ногой на реджийский берег, Филезия наткнулась на кортеж, сопровождавший Юлию, отправлявшуюся вместе с Фебе к претору для совершения манумиссии своей невольницы. Из разговоров, происходивших в толпе вокруг Филезии, она узнала цель церемонии, слышала и имя, если не самой невольницы, шедшей получить свободу, то ее госпожи, дочери императора, и, заинтересованная новым для нее зрелищем, вместе с

толпой дошла до самого порога базилики. Тут она остановилась в ожидании окончания обряда; и только тогда, когда он был окончен и кортеж выходил из базилики, она узнала в вольноотпущеннице знакомую ей Фебе. Несчастливая старуха от радости едва не лишилась чувств: неожиданное появление молодой милетянки служило для Филезии несомненным доказательством присутствия тут и Тимена.

Бедная женщина в своем предположении, как мы знаем, была близка к истине.

Мы присутствовали при ее разговоре с Фебе. После этого разговора, узнав то, что ей было нужно, она, выйдя из дома Юлии, возвратилась к морскому берегу. «Отсюда, – думала она, – Тимен еще вчера входил в город, отсюда же он уплыл обратно; следовательно, здесь мне нужно ждать его возвращения». Никто не мог бы отклонить ее от этого решения. Она села на уединенные остатки крепостных развалин как раз у того места, где накануне Тимен приставал к берегу в своей лодке.

Ее опасения, однако, не уменьшались сознанием близкого присутствия Тимена: она думала, что он явился сюда для совершения какого-нибудь рискованного предприятия, которое должно осуществиться на море – стихии, ему хорошо знакомой.

Но где находится его гемиолия? Где гемиолии и акации его товарищей? Вблизи того места, где сидела, она видела лишь императорские военные либурны, триремы и прочие суда; их присутствие тут и кипевшая на них работа только увеличивали ее опасения и душевные страдания.

Ей необходимо было найти Тимена во что бы то ни стало и как можно скорее; она жаждала видеть его, чтобы отговорить его от рискованного дела. Часы казались ей веками, минуты длились бесконечно, и в сильном нетерпении и волнении бегала она по морскому берегу, зорко осматривая всю ширь морской поверхности; но ничего не замечал на ней ее взор.

В таких страшных душевных мучениях прошел для нее почти весь день.

Солнце, опускаясь, касалось уже горизонта, когда какие-то мрачные, подозрительные фигуры, окутанные в таинственные пенулы¹² и в капучинах, покрывавших их головы и спускавшихся на их лица, появились в различных местах у морского берега и с беспокойством, но осторожно осматривались во все стороны. От Филезии не скрылось, что они поджидали еще других своих товарищей.

С восточной части города можно было уже различить вдали, на морской поверхности, несколько черных точек.

Несмотря на покрытое тучами небо, Филезии, беспокойной предчувствием, возбужденным в ней привязанностью ее к Тимену, эти черные точки показались пиратскими лодками, что и было на самом деле. Вместе с тем она заметила, что подозрительные люди, которые перед тем на ее глазах вышли поодиночке из города и бродили вдоль берега, также стали смотреть на дальний морской горизонт и при первом появлении на нем черных точек, тотчас же замеченных ими, мало-помалу сошлись все вместе, о чем-то таинственно переговорили и затем вновь разошлись, не удаляясь, однако, от берега.

Один из них, случайно или с намерением узнать, что за женщина сидит тут, не шпион ли, подошел к Филезии, которая, при первом же взгляде на него узнав в нем одного из матросов Тимена, вскрикнула:

- Эфае!
- Кто меня зовет? А! Это ты... родная!
- Где ты оставил своего господина?
- Подожди его, он придет.

¹² Пенула (penula, или раpenula) – верхнее платье в виде круглого плаща с башлыком и с дырой в верхней части, через которую просовывали голову; спереди же этот плащ был совершенно закрыт. Его носили во время путешествия и в дождь; приготовлялся он из сукна и длинной и густой шерсти.

– С моря?

– Кто его знает.

– Говори, несчастный: мне нужно его видеть прежде, нежели начнется у вас дело; понимаешь?

– Что ты знаешь о деле?

– Все; разве ты забыл, что я предсказала тебе быть распятым?

– Ха, ха! – отвечал он, смеясь. – Кто верит, Филезия, твоим страшным сказкам?

– Ты им поверишь, да будет поздно.

Эфае, заметив приближение гемиолий, плывших к берегу при помощи весел со стороны, противоположной той, где находился маленький римский флот, отошел от Филезии и присоединился к своим товарищам, число которых в эту минуту уже увеличилось, что еще более усилило опасение и страх в душе несчастной старухи.

Сердце ее забило сильнее, и биение его усиливалось по мере приближения гемиолий. Они плыли быстро, подобно рыбам, и *excubitores*, то есть часовые, стоявшие на скале, поздно заметили, что они принадлежат пиратам, потому что прежде, нежели первые подали криком сигнал об опасности, все корсары и бывшие с ними люди успели уже соскочить из гемиолий на берег, держа в руках наточенные мечи и кинжалы.

Матросы, принадлежавшие к экипажу гемиолий Тимена, проходя мимо Филезии, со страхом узнавали в ней старую невольницу своего господина.

– Ты здесь, Филезия? – спрашивали они ее, и она отвечала им одним только коротким и резким вопросом:

– Где Тимен? – так как она не находила его между ними.

– Его нет с нами, – отвечали они хором, – он прежде нас отправился в город.

А из города в эту самую минуту послышался резкий звук литуя¹³, который, означая собой общую атаку, был ответом на сигнал, данный за несколько минут перед тем римскими часовыми.

Бедная старая невольница в отчаянии ударила себя в лоб и вскрикнула:

– Ах! Он погиб!

Едва лишь раздался звук литуя, шедшие до того по направлению к городу обыкновенным шагом быстро побежали туда, потрясая оружием, находившимся в их руках, как бы готовые броситься тотчас в бой. Очевидно, они получили заблаговременно приказ от Тимена, куда явиться в данную минуту.

Семпроний Гракх, Деций Силан, Сальвидиен Руф, Луций Авдазий, Азиний Эпикад и Азиний Галл, также приплывшие в Реджию на последней гемиолии, по заранее установленному распределению ролей и вооруженные, подобно пиратам, остались для охранения лодок. Они слишком доверяли смелости корсара, чтобы сомневаться в удаче предприятия, и готовились принять на главную из гемиолий Юлию и Фебе, как только они будут похищены.

В это самое время, по полученному ими от заговорщиков знаку, дочь императора вместе со своей вольноотпущенницей вышли из дома, чтобы идти к морскому берегу. Едва только переступили они порог, как слышали тревогу часовых, вслед за тем звуки трубы, шум оружия и крики людей, завязавших бой у самого дома.

Последний стоял на самой середине скалы, защищаемый у входов довольно многочисленной стражей, которую необходимо было побороть, чтобы достигнуть дочери императора и овладеть ею и ее вольноотпущенницей.

На крик часового, распространившийся с быстротой молнии от ведета к ведету, солдаты выскочили из своих казарм и побежали к дому Юлии, близ которого столкнулись неожиданно

¹³ Литуй (*lituus*) – небольшая медная труба, изогнутая рогообразно; игравший на ней назывался *liticen*.

с Тименом и его людьми, вооруженными с ног до головы, с обнаженными мечами и кинжалами в руках.

Корсары и их товарищи, подобно разъяренным голодом гиенам, бросились на солдат римского гарнизона, ошеломленных неожиданным появлением большой толпы разбойников. Мечи засверкали в воздухе, удары посыпались на солдат со всех сторон, нанося им раны, опрокидывая их на землю и убивая их; страшное опустошение в их рядах производили напавшие на них пираты.

Граждане города намеревались было подать помощь гарнизону, но Луций Авдазий, вовремя встретивший их, сказал им, чтобы они не вмешивались в дело, их не касающееся, если не желают видеть свой город сожженным.

– Борьба идет, – объяснил он им, – лишь об освобождении дочери Августа, который сам желает ее освобождения и будет благодарен тем, кто хотя бы силой спасет его дочь, обязанную своим несчастьем злой мачехе.

А так как последнее обстоятельство не было ни для кого тайной, то слова Луция Авдазия тотчас убедили и успокоили граждан, поспешивших уйти от места драки, желая в душе успеха смелому и, как им теперь казалось, благородному предприятию.

Смелый же патриций поспешил вперед, дошел между сражающимися до обеих женщин, со страхом ждавших на пороге окончания битвы, но не думавших скрыться в доме, схватил Юлию за руку и, очищая себе дорогу кинжалом, быстро удалился с ней от свалки.

Так же точно поступил Тимен с Фебе, после чего они поспешили со своей добычей к лодкам, где у берега наткнулись на другую, не менее ожесточенную драку.

Римские патриции, оставшиеся на гемиолиях, были неожиданно осаждены классиарирами, то есть матросами императорского флота, которые, высадившись из своих трирем на берег, бросились на патрициев и завязали с ними ужасный бой.

Другая часть солдат по знаку своего офицера поспешно села на легкие либурники, которые благодаря дружной и скорой работе всех гребцов быстро отошли от берега, держась одна возле другой таким образом, что образовали из себя плотную цепь с очевидной целью отрезать путь к морю пиратам, с которыми все солдаты решились помериться своими силами.

В ту минуту они еще не знали, что пираты прибыли в Реджию для того лишь, чтобы способствовать освобождению дочери императора; знай они это, быть может, дело решилось бы тогда иначе; солдаты были уверены, что единственной целью появления пиратов был грабеж, и они хотели жестоко наказать их за такую дерзость.

Во время свалки и кровопролития похитители хотели открыть себе дорогу и провести обеих женщин до самого берега моря, где Тимен и Луций Авдазий посадили их на гемиолию. Но Тимен не думал, что он исполнил этим лежащий на нем долг: он не мог оставить своих товарищей в жертву неприятелю и поспешил обратно к ним на помощь.

По его желанию Азиний Эпикад остался в гемиолии с горстью решительных людей с той целью, чтобы в случае нужды защитить гемиолию и находившихся в ней женщин от неприятельского нападения.

Луций Авдазий, принявший на себя команду над этой гемиолией, приказал ее гребцам не теряя времени взяться за весла и выйти поскорее из порта. Он хотел воспользоваться смятением, произведенным битвой, и ночной темнотой, спустившейся уже на землю и усилившейся благодаря покрытым тучами небом; но он не предвидел общей атаки, которую готовились сделать на него при выходе из порта.

Тут его гемиолия была моментально окружена со всех сторон разными военными лодками, наполненными солдатами, к которым тотчас же присоединилась и либурника. Эта последняя при быстром беге с такой силой ударила своим носом гемиолию, где находились Юлия и Фебе, что она едва удержалась на воде. Таким образом она была стеснена со всех сторон неприятелем, и зажженные в ту минуту факелы своим мрачным светом осветили ужасную кар-

тину. По крику, раздававшемуся на либурнике, находившиеся на ней матросы императорского флота с необыкновенным остервенением вскочили на гемиолию и вступили в рукопашный бой с Авдазием, Эпикадом и с бывшими при них людьми.

Совершенно окруженные и стесненные многочисленным неприятелем до того, что для них становилось невозможным действовать свободно оружием, Луций Авдазий и Эпикад вместе с немногими корсарами, оставшимися в живых после кровавой свалки, были наконец схвачены, обезоружены и, связанные канатами подобно диким зверям, отнесены на императорскую либурнику, а гемиолия была отведена в гавань, в безопасное место, и поручена строгому надзору, так как при взятии ее в плен на ней нашли дочь императора и ее вольноотпущенницу.

В городе между тем борьба еще длилась. Тимен совершал чудеса храбрости; раненый во многих местах, он едва не был убит одним из солдат, замахнувшимся на него своим мечом; но, уклоняясь от удара, он наткнулся на лежавший у его ног труп и упал; в эту самую минуту чья-то невидимая рука вонзила кинжал по самую рукоятку в сердце того человека, который готовился его убить.

Тимен считал себя погибшим, но в хриплом голосе, сопровождавшем кинжальный удар и крикнувшем: «Это я здесь, Тимен!», пират узнал Филезию, свою верную невольницу.

И подобно легендарному Антею, который при своем прикосновении к земле приобретал еще большую силу, пират, вскочив на ноги, сделался еще более ужасным и, бросившись вновь в середину неприятеля, стал сеять смерть вокруг себя.

Бросаясь в бой, он быстро крикнул Филезии:

– Беги на судно и береги мою Фебе!

– А ты? – отвечала старуха.

– Ступай! – повторил повелительно пират.

И пифия, выйдя из середины свалки, действительно поспешила к судну, но оно было уже в руках неприятеля и никто не мог сказать ей, где находится Фебе. Филезия побежала было обратно к Тимену, но по дороге услышала от граждан, говоривших друг другу:

– Схватка кончена; корсары побеждены.

И в самом деле, римские солдаты своей многочисленностью восторжествовали над корсарами. Увеличиваясь, подобно снежной лавине, масса солдат, наконец, стеснила Тимена и его товарищей до такой степени, что сопротивление со стороны последних сделалось невыносимым. Удар дубиной, окованной железом, полученный Тименом, не уклонившись от него вовремя вследствие ночной темноты, заставил его выпустить из руки кинжал, а несколько дюжих солдат, набросившихся на него в это мгновение, свалили его с ног. На этот раз страшный корсар упал, чтобы более не встать свободным, потому что, отделенный от своих верных товарищей, в свою очередь погибавших под ударами сильного неприятеля и лишенных возможности подать ему помощь, он был крепко связан и унесен с поля битвы.

Семпроний Гракх, Деций Силан и Азиний Галл, находившиеся в течение битвы недалеко друг от друга, видя невозможность устоять против превосходящей силы, сказали один другому: «Воспользуемся темнотой и уйдем, пока живы». Спрятав оружие, они исчезли в толпе частных граждан. Одетые в костюм римских патрициев и всадников, они не могли подать в первую минуту подозрения в своем участии в предприятии морских разбойников, а если бы такое подозрение и существовало, то никто из граждан не решился бы быть в данном случае доносчиком и помешать их бегству вследствие того антагонизма, какой постоянно существовал между местными жителями и людьми, принадлежавшими к военной колонии, что, между прочим, было естественно, так как первые были принуждены жертвовать в пользу последних частью своего имущества: военной колонии всегда выделялась известная часть земли, принадлежавшей туземцам¹⁴.

¹⁴ Август увеличил число военных колоний, устраивая их и в каждой части самой Италии, где, по словам Юста Липсия,

Не теряя времени, Семпроний Гракх, Силан и Галл вышли из города со стороны, противоположной морю; они боялись, что при наступлении дня их могли выдать или показания взятых в плен пиратов, или их собственная, изорванная оружием и забрызганная кровью одежда.

В маленькой кучке римских заговорщиков недоставало Азиния Эпикада, Луция Авдизия и Сальвидиена Руфа: первые двое, как мы видели, попали в плен при взятии гемиолии Тимена, а последний был замечен в самой свалке одним из примипилов¹⁵ и арестован по его приказанию, причем этот последний схватил за руку Сальвидиена Руфа в ту минуту, как он замахивался мечом на солдата, и сказал ему голосом строгого упрека:

– И ты, бывший консул, туда же?

Начальник центурионов узнал Руфа потому, что был вместе с ним в восточной войне как раз в то время, когда Руф, вследствие особого благоволения к нему Августа, был сделан консулом.

После кровавой и убийственной драки на реджийской скале воцарилась глубокая, мертвая тишина. Солдаты возвратились в свои казармы, ночные часовые, *procubitores*, *vigiles*, многочисленнее прежнего были расставлены по улицам, по берегу моря и на башнях. Юлия и Фебе, которых считали жертвами жадных пиратов, были отведены с почетом в свои комнаты и успокоены. Пленники, закованные в цепи, были заперты в тюрьму. У ее дверей одна женщина присела на землю и оставалась там целую ночь, не шевелясь, подобно мертвому телу.

Это была Филезия, фессалийская пифия.

таких колоний насчитывалось до 150. Главной целью этих колоний было препятствовать восстаниям в провинциях; вместе с тем они распространяли римскую цивилизацию.

¹⁵ Примипил (*primipilus*) – в римских легионах начальник центурионов, сотников.

Глава шестая

Суд

На следующий день реджийская базилика¹⁶ имела далеко не такой веселый вид, как день тому назад, когда в ней совершался обряд освобождения Фебе от рабства. Хотя на этот раз народу в базилике было гораздо больше, но лица у всех были озабоченны; всем было известно, что происшествие последней ночи было очень серьезно, но его страшные последствия увидели лишь с восходом утренней зари, в большом количестве мертвых тел, подобранных на тех улицах и в местах, где происходили более ожесточенные схватки, и в несравненно значительном числе раненых, которых к этому времени успели счесть.

В римских городах базилика – место, где происходили судебные разбирательства, – помещалась, обыкновенно, в начале площади, форума; так было и в Реджии; и в день нашего рассказа, в третьем часу, соответствовавшем нынешним девяти часам утра, – в этот час у древних римлян открывался суд, – вся площадь перед базиликой была полна народом, любопытствовавшим взглянуть на лица страшных пиратов, делавших опасным плаванье по морям и которых боялись все прибрежные города; любопытство на этот раз усилилось еще рассказами, ходившими по городу о необыкновенной храбрости и о зверстве, какими эти пираты отличились в битве, происходившей в прошлую ночь, и слухами, будто вместе с пиратами видели и важных римских граждан, которые, соединившись с этими злодеями, пытались похитить дочь императора; при этом имена Сальвидиена Руфа, бывшего консула, и Тимена, знаменитого начальника пиратов, были у всех на устах, и каждый высказывал свое мнение о том, в чем заключалась действительная цель предприятия и какая участь ожидает того и другого.

– Сальвидиен Руф был одним из любовников вдовы Марка Випсания Агриппы, – сказал булочник Паквий Прокул.

– Почему не говоришь, что вместе с тем и жены Клавдия Тиверия, – поправил суконщик Пумиций Дипил.

– Потому что теперь он ей не муж, если сам Август, как всем известно, послал ее в ссылку, как публичную развратницу.

– А как ты думаешь, будут ли они оба присуждены к смерти? – спросил Паквий Прокул.

В эту минуту в их разговор вмешался подошедший к ним Авл Умбриций, человек, пользовавшийся некоторым авторитетом в городе и бывший декурионом.

– Что касается корсаров, – сказал он, – нет сомнения, что они будут осуждены и казнены тут же, в Реджии; но остальные, как римские граждане и к тому же патриции, а один из них был даже консулом, не думаю, чтобы могли подлежать власти претора и местному суду; последний не вправе произнести над ними не только *damnare capite*¹⁷, что они заслуживают в данном случае, но даже и подвергнуть их *maxima diminutio capitis*¹⁸.

¹⁶ Базилика (*basilica*) – римляне взяли это слово из греческого языка; оно, собственно, означает королевское, правительственное здание и придано было тем местам, где отправлялось правосудие, главное право верховной власти. Кроме того базилика служила местом для собраний с коммерческой целью, т. е. заменяла собой нынешнюю биржу. В них произносились публичные речи политическими деятелями; поэты в послеобеденное время читали тут свои произведения, и после окончания своих дел народ собирался в базилике слушать своих поэтов и ораторов. Архитектура базилики была сходна с архитектурой нынешних христианских церквей, которые удержали за собой это название; и при введении христианства, во время Константина, многие из базилик были обращены в христианские храмы; с тех пор под словом базилика подразумевается церковь.

¹⁷ *Damnare capite* (осуждать в голову) – означало смертную казнь.

¹⁸ *Capitis diminutio* – означало изменение положения осужденного, то есть потеря известных прав, и это наказание имело три степени: *maxima*, *media* и *minima* (высшая, средняя и низшая); первая касалась прав свободы, вторая – вообще гражданских прав, третья – прав семейных. *Maxima diminutio capitis* влекло за собой одновременную потерю всех этих прав; в этом случае подсудимый осуждался на рабство или на строгую ссылку. *Media diminutio capitis* лишало его гражданских прав, но не свободы, посылая осужденного жить в колониях. А когда ограничивались семейные права, например, лишением права

– А что, пройдут ли они все четыре обвинения? – спросил Паквий.

Поясню этот вопрос в нескольких словах. В уголовных делах следовали, обыкновенно, такому порядку. Сперва шло обвинение от магистрата в виде объявления, что в известный день он начнет судебное разбирательство по преступлению, совершенному таким-то лицом, приглашая при этом это лицо явиться в суд. Подсудимый между тем находился в заключении, исключая того случая, когда он мог представить за себя поручителя. В случае неявки в суд он осуждался заочно на изгнание; иначе он являлся в суд очень плохо одетым; тогда обвинитель приступал к формальному обвинению в течение трех дней, с известными между ними промежутками, подтверждая его доказательствами, документами и свидетелями и предлагая соответственное наказание, телесное или в виде денежного штрафа.

По окончании третьего обвинения в течение трех первых базарных дней читался публично обвинительный акт (*rogatio*), в котором доказывалось преступление и предлагалось наказание. На третий базарный день – до четвертого и последнего провозглашения обвинительного акта со стороны обвинителя – обвиняемый или лично, или при посредстве адвоката (*patronus*) говорил защитительную речь (*oratio iudiciaria*), пользуясь всевозможными средствами для возбуждения к себе народного сочувствия. Публий Силла, обвиненный в совершении подкупа при выборах и в прочих преступлениях, привел в суд своего сына-малютку, чтобы возбудить милосердие в судьях.

После этого в ближайшем народном собрании решался вопрос о виновности или невинности подсудимого.

С течением времени почти все преступления, а именно: *de repetundis*, то есть вымогательство; *de ambitu* – злоупотребления в виде подкупа и т. д. при конкуренции на высшие должности; *de maiestate* – посягательство на безопасность и достоинство государства; *de falso vel crimine falsi* – подделка монеты и документов; *de sicariis et veneficiis* – убийство и отравление, и, наконец, *de patricidiis* – отцеубийство – были подчинены юрисдикции претора и коллегии судей и судебных заседателей, глава которых назывался *iudex quaestionis, princeps iudicem*; эти лица сперва выбирались лишь из среды сенаторов, но впоследствии и из класса всадников; выборы происходили ежегодно и по декуриям, и правом выбора пользовались те, которые имели не менее 30 и не более 60 лет от роду.

Возвратимся теперь к нашим собеседникам.

– На этот раз не будет четырехкратного обвинения, – отвечал декурион Умбриций на вопрос Паквия Прокула. – Во-первых, потому, что в этом процессе будут судить не римских граждан, а чужеземцев *peregrina* (отсюда и претор, имевший право юрисдикции над иностранцами, назывался *praetor peregrinus*); во-вторых, потому что наш претор, занимая эту должность, издал эдикт, который установил более короткий суд над пиратами, и сделал он это ввиду той опасности, какой может подвергаться от этих морских разбойников город Реджия, лежащий у морского берега. Процесс окончится сегодня же, а само наказание последует тотчас за осуждением.

– Да будет благосклонна к тебе Венера, Умбриций, за твою любезность, – поблагодарил его суконщик Пумиций Дипил тоном глубокого уважения, так как лицо, занимавшее должность декуриона, пользовалось большим авторитетом в римских колониях.

– Ты также будешь судить их? – осмелился спросить его Паквий Прокул.

– Тут важное государственное преступление, Прокул; в прежние времена для его рассмотрения были бы собраны все граждане по центуриям, или, как это было позднее, когда еще существовала республика, были бы устроены *quoestiones* и все дело решалось бы тут, на площади, при свете яркого солнца, на виду у всех...

– Что такое были эти *quoestiones*?

– Комиссии, бывшие сперва временными, но которые Силла сделал потом постоянными.

– А теперь?

– Вы видели это уже на бывших при вас процессах: теперь, когда нужно, трибунал составляется претором из судей, внесенных им в свой список.

– А сколько будет судей?

– Обыкновенно бывает не менее тридцати; но сегодня, ввиду важного значения настоящего дела, число судей будет, быть может, гораздо большее; я думаю, что их будет восемьдесят.

– Смотрите, смотрите! – раздалось в эту минуту со многих сторон – Наверно, идет претор: вот ликторы, очищающие ему дорогу. Скоро приведут и подсудимых.

Услышав это, Авл Умбриций оставил своих собеседников и отправился навстречу преторскому кортежу; подойдя к претору, он поздоровался с ним и вместе с ним пошел по направлению к базилике.

Легко себе представить внутреннее устройство базилики в Реджии тому, кто, будучи в Помпее, обратил внимание на развалины здания, служившего для такой же цели, и видел такие же здания на острове Прима.

Происходя от базилик греческих, базилики, существовавшие в римских колониях Южной Италии, имели, однако, в некоторых своих частях и свою собственную архитектуру, отличавшуюся особым характером.

Как в Помпее, так и в Реджии главный вход в базилику, на что я уже намекал, был со стороны площади. Этот вход был украшен статуями и имел переднюю с пятью наружными дверьми, из которых по четырем каменным ступеням входили в обширный зал с колоннами и пилястрами, распределенными соответственно пяти дверям передней; этот зал имел более полутора тысяч квадратных метров. Он был разделен на три части; средняя из них была открытой, а обе другие с крышей в виде портиков, покоившихся на больших колоннах ионического ордера, отделявших эти части базилики от средней; соответственно упомянутым колоннам шли полуколонны у стен базилики, украшенные карнизом, упиравшимся в самую крышу боковых частей здания.

Место для трибунала, находившееся, как во всякой базилике, напротив главного входа, на противоположной стороне зала, состояло из подиума – возвышения, на которое всходили по деревянным ступеням. Этот подиум был украшен коринфскими колоннами и фронтоном, примыкавшим с обеих сторон к портикам боковых частей базилики. Под подиумом находилась камера, в которую спускались по двум узким каменным лестницам. Скоро мы узнаем назначение этой камеры, имевшей в своем своде спиральное отверстие, находившееся недалеко от подиума и закрытое крепкой железной решеткой.

Громадной величины статуи и вазы украшали портики; на стенах виднелись мраморные доски с надписями; кроме того, повсюду встречались разные изречения, нацарапанные карандашом теми, которые приходили сюда для коммерческих сделок, для слушания ораторов и поэтов и для отдыха в дождливые или знойные дни.

Претор с несколькими декурионами и старейшинами города, шедшими позади него, поднявшись по ступеням главного входа в базилику, вошел в нее через средние двери. Все три части базилики были моментально наводнены народом; близ трибунала, то есть подиума, называвшегося *suggestum*, на который претор взобрался по боковым ступеням и поместился на курульном кресле, собрались главные лица из городского общества и местные гражданские и военные власти, которые, в свою очередь, сели в кресла меньшей величины, называвшиеся *subsellia*.

Военный трибун, являвшийся в данном случае вследствие известного характера преступления и самих обвиняемых естественным обвинителем, вышел на середину залы.

Liburno, исполнявший должность нынешнего судебного пристава, – это должностное лицо называлось так потому, что оно выбиралось преимущественно из местных побережных

жителей адриатического берега, носившего название либурнийского, – провозгласил громким голосом открытие судебного заседания.

Тогда военный трибун начал свою речь, в которой рассказал все происшествие предшествовавшей ночи, уже известное читателю, и просил у претора права возбудить обвинение против греческих корсаров и против римских патрициев, соединившихся с первыми, очевидно, с самой преступной целью.

Претор отвечал:

– Относительно греческих корсаров я предоставляю тебе, трибун, произнести обвинение, но остальные лица, как римские граждане, вне моей юрисдикции; между ними находится и Сальвидиен Руф, бывший консулом, и закон обязывает меня донести о них сенату.

Так как военный трибун не сделал замечания на эти слова, то претор, вновь обратившись к нему, продолжал:

– Трибун, принеси клятву!

Трибун, как требовала форма, произнес присягу поддерживать обвинение до окончания суда и затем высказал само обвинение, указав в нем на преступников, определив характер их преступления, как такого, которое было направлено против спокойствия и безопасности государства, и предложив на рассмотрение суда соответственные обвинению вопросы.

– Пусть выступят вперед подсудимые, – приказал тогда претор – Процедура по этому делу назначена скорая, на основании *jus honorarium*¹⁹.

Этот закон, называемый также *jus praetorium*, был тот самый эдикт, на который намекнул Авл Умбриций, отвечая на вопрос Паквия Прокула, и который был издан этим претором при своем вступлении в должность.

Тут раздался звук цепей, и Тимен, а с ним десяток других пиратов, между которыми находился и Эфае, которого мы уже видели на берегу моря, вступили в базилику, конвоируемые по обе стороны рядом солдат, и были подведены к трибуналу.

Тогда претор приступил к составлению судебной комиссии, вынимая из урны билеты с именами присяжных, занесенными в его список, но сперва он обратился к обвиняемым, а затем к присяжным со следующими словами:

– Обвинитель и обвиняемые имеют по закону право устранить судей; со своей стороны и присяжные, *assessore*s, могут заявить причины своего отказа.

Корсары, за исключением своего начальника, ничего не поняли из этих слов, так как они, будучи греками, знали только свой родной язык, поэтому ни один из них не проговорил на это предложение претора ни слова. Вследствие этого восемьдесят судей, составлявших трибунал, молча заняли назначенные им места.

Адвокаты, *patroni*, и писцы, записывавшие происходившее на суде, сделали то же самое.

Пираты продолжали хранить молчание, не отвечая даже на понуждения адвокатов, принявших на себя их защиту единственно лишь для увеличения своей славы. Тимен дал приказ своим товарищам хранить молчание.

– Молча встречали мы, – сказал он им, – рев бури и не боялись волн, грозивших поглотить нас; станем ли мы говорить теперь, станем ли умолять этих наших врагов, уже решивших умертвить нас? Умрем, по крайней мере, так, как умирают сильные.

– Умрем как сильные! – отвечали громким и решительным голосом морские разбойники.

– Если они с презрением отказываются от защиты, – сказал претор, – то кто осмелится быть свидетелем в их пользу? Либурн, выкликни свидетелей!

Либурн выкликнул их три раза.

¹⁹ Собрание эдиктов, изданных преторами и составлявших собой *jus honorarium*, имевший силу закона, было составлено при императоре Адриане юрисконсультom Сальвием Юлианом и названо *dictum perpetuum*.

– Adsum! – крикнули два женских голоса, в которых слышалось душевное страдание; и глаза претора, присяжных, адвокатов, подсудимых и всей публики обратились моментально в ту сторону, откуда послышались эти голоса.

Действительно, две женщины поспешно шли к трибуналу: одна из них скрывала свое лицо под покровом, другая шла с открытым лицом; обе остановились перед судьями.

Следуя предписанной законом форме, защитник Тимена подошел к младшей из них и спросил ее:

– Licet antestari? – что означало: желает ли она быть свидетельницей.

Молодая женщина подняла покрывало и приблизила к адвокату свое ухо для того, чтобы он к нему дотронулся; этим свидетель выражал свое согласие, так как ухо признавалось вместилищем памяти²⁰. Молодая женщина, которую тотчас же узнали, была Фебе, красивая невольница Юлии, бывшая в эту минуту уже свободной и еще вчера стоявшая тут перед претором в праздничном наряде, а теперь в глубоком трауре.

– Ты свободная? – спросил ее претор.

– Со вчерашнего дня, ты это знаешь.

– Что можешь ты сказать в защиту подсудимых?

– То, что они прибыли в Реджию не для того, чтобы похитить дочь Августа, но взять отсюда невесту своего начальника, вот этого.

И она указала на Тимена.

– Чем ты можешь доказать это?

– Клянусь всеми богами неба и ада, что это так.

– А кто невеста?

– Я сама.

– Она сказала правду! Я утверждаю это именем всех богов! – вскричала в эту минуту другая женщина.

Это была Филезия.

– На допрос эту женщину: она раба и пусть скажет это под пыткой, – приказал хладнокровно претор.

И несчастная фессалийская пифия была тотчас схвачена и уведена в комнату, где производились пытки. Немного спустя чиновник, присутствовавший при пытке, возвратился в зал и объявил, что Филезия умерла под мучительной пыткой, не отказавшись от показания, данного ею на суде.

На ресницах Тимена заблистали две большие и горячие слезы и покатались по его загорелому лицу: ему был знаком латинский язык, и из сообщения чиновника он понял силу преданности к нему его бедной невольницы, пожертвовавшей собой.

Трибун начал свою речь и в кратких, но возбужденных и резких словах описал преступление пиратов.

– Если бы мы захватили их, – сказал он, – в открытом море без всякого сопротивления с их стороны, но как морских разбойников, то этого было бы достаточно, чтобы подвергнуть их тому наказанию, о котором я вас прошу, судьи, то есть запретить им употребление воды и огня (это обозначало смертную казнь), как самым презренным людям; но они вступили на римский берег, вошли в наш город, и хотя двое свидетелей утверждают иное о цели их предприятия, тем не менее верно то, что они положили руку на дочь Августа и даже увели ее на свое судно, распространили по всему городу ужас и обагрили его улицы кровью; только благодаря бессмертным богам избегли мы еще большего несчастья. Вы, судьи, удержитесь от сострадания к свидетельствующей в их пользу вольноотпущеннице, потому что, как завещали нам наши

²⁰ Об этой странной юридической форме упоминает Гораций в одной из своих сатир, а именно девятой, в первой книге.

предки, спокойствие и безопасность республики должны быть для всех нас высшим законом: *salus reipublicae suprema lex esto*.

Патрон, то есть адвокат, Тимена произнес свою речь с пафосом; не защищая вообще пиратов и умалчивая об их частых набегах на римские берега и оскорблениях, наносимых ими мореходам и береговым жителям, он старался лишь оправдать неожиданный случай предшествовавшего дня. «Они пришли, – говорил он, – не для оскорбления и грабежа, но с намерением помочь своему начальнику в его самом благородном и святом чувстве, не грабить, но взять его невесту, существо свободное и вместе с тем согласное на брак с Тименом». Свою речь он окончил священным словом *dixi* – «я сказал».

После этого либурн, по знаку претора, объявил громким голосом об окончании прений, воскликнув: *dixerunt!* – «они сказали!».

Тогда Фебе, и только она одна, – так как у Тимена тут не было других друзей, – не будучи в состоянии произнести ни слова, упала на колени и, протянув руки по направлению к судьям, молила их о сострадании. Умоляющая поза несчастной вольноотпущенницы и ее глубокий траур делали ее еще более прекрасной, и не без волнения смотрели на нее те, в руках которых находилась участь пиратов.

Тимен обратился к Фебе на своем родном наречии:

– Встань, невеста Тимена, не унижай себя перед ними: напрасна всякая мольба!

Претор приказал увести подсудимых. Но Фебе, открыв себе путь среди солдат, бросилась на шею своему Тимену и обняла его, заливаясь слезами отчаяния; центуриону стоило труда оторвать ее от пирата, чтобы иметь возможность исполнить приказ претора.

Пиратов спустили в камеру, находившуюся под трибуналом, в которой они едва помещались. Они должны были оставаться в ней, пока судьи обсуждали их участь.

Претор вновь подал свой голос, чтобы напомнить присяжным, как требовала этого форма, о необходимости серьезно взвесить все обстоятельства дела и решить его, основываясь единственно на правосудии.

Когда претор окончил свою речь, каждый из судей, держа в руке камешек, произнес следующие слова:

– *Si sciens fallo, tum me Diespiter, salva urbe, ex bonis ejiciat, ut ego hunc lapidem*²¹ (то есть: если я ошибусь сознательно, то пусть тогда Юпитер, ради спасения города, отбросит меня от добрых людей, как я отбрасываю этот камень).

И каждый из них, действительно, отбросил от себя свой камешек.

Затем им были даны деревянные дощечки, натертые воском с той стороны, на которой они должны были начертить или букву *A*, означавшую *absolvo*, – оправдываю, или букву *C*, означавшую *condemno*, – осуждаю, или, наконец, *N*, что значило – *non liquet*, когда недостаточно была уяснена невинность и преступность подсудимого лица, что могло иметь своим следствием *actio secunda*, отсрочку окончательного решения и дополнение судебного следствия, что выражалось адвокатским термином *causa ampliata est*.

Когда дощечки были розданы судьям, они вместе с претором, как старшим судьей, удалились из зала суда для обсуждения дела и постановления решения.

Последнее заставило себя долго ждать, что дало повод в среде нетерпеливой публики к разного рода предположениям и комментариям.

Знакомый нам суконщик, Пумиций Дипил, вошедший в базилику вместе с булочником, Паквием Прокулом, и стоя рядом с ним во все время судебного заседания, обратился к нему со следующим вопросом:

– Слышал ли ты, Паквий, что сказал стоящий позади нас Фумиал, продавец духов?

²¹ От этой формулы клятвы произошла фраза: *jovem lapidem iurare*, о которой уже рассказывалось в первой части этой истории.

– А что он сказал?

– Что будто бы дочь Августа подкупила некоторых судей в пользу пиратов.

– А откуда он узнал об этом?

– Да тебе известно, что он по своей обязанности часто посещает дом дочери Августа; вероятно, он узнал об этом от ее домашних.

– Но какой интерес может иметь в этом Юлия?

– Она была в уговоре с патрициями, большая часть которых успела уйти.

– А что она хотела сделать?

Подслушав разговор наших собеседников, Фумиал приблизился к ним и сказал:

– Был заговор украсть ее и представить войску.

– С какой же целью?

– Из ненависти к Ливии Августе, преследующей как Юлию, так и все ее семейство.

– Пусть будет так, – заметил на это Паквий Прокул, – но как могла Юлия знать предвзятельно судей, которые были избраны тут, на наших глазах?

Фумиал почесал себе затылок, так как замечание было справедливо, но не смутился нисколько и отвечал:

– Да ведь ассессоры претора бывают почти одни и те же лица: поговори с десятью из тех, которые находятся в списке претора, и будь уверен, что пятеро из них будут избраны в присяжные. А кто поклянется, что у них не просили о снисхождении к пиратам еще до открытия судебного заседания? Между сегодняшними судьями я насчитал более тридцати человек таких, которые ежедневно ранним утром спешат на скалу, где стоит дом дочери императора, и ждут там, пока привратник не отворит дверей, чтобы спросить у него, как госпожа его провела ночь.

В эту минуту заколыхались головы у тех дверей, через которые вошли в зал судьи, и в то же мгновение повсюду послышался шепот, подобный тихой волне у морского берега.

Появился либурн и громким голосом просил прекратить разговоры: к трибуне приближался суд.

Претор вновь взошел на подиум, *suggestum*, и свил, в знак траура, свою тогу; ассессоры со строгим выражением в лице также заняли свои места. Во всех трех частях базилики наступила глубокая тишина; все, затаив дыхание, ждали чтения приговора.

Либурн снял деревянную доску, покрывавшую отверстие подпольной камеры, чтобы дать пиратам возможность слышать приговор суда.

После этого претор подал знак письмоводителю, который, поднявшись на ноги, прочел громким голосом приговор, составленный в следующей форме:

«При нынешнем Цезаре Августе императоре и при консулах Авле Луцинии, Нерве Силиане и Квинте Цецилии Метелле Критике Силане¹, восьмого сентября, в присутствии Луция Пулькра, претора этого города Реджии, военной римской колонии, рассмотрено дело *de majestate* против Тимена, грека из ионийской Эолии, Эфая из Мизии, Диэо из Македонии, Эгэ из приморской Фракии, Кремтора из Лебедоса, Ионы из Смирны, Лакарета из Памо, Река из Пидны, Мифона из карийского Язуса, Антипы из Аргусини, Истея из эолойской Адрамиты, морских разбойников; на основании закона они все признаны виновными в преступлении, указанном обвинителем, вследствие чего присуждаются к распятию и должны умереть».

При этих словах раздался пронзительный крик. Этот крик был несчастной Фебе, упавшей без чувств на пол.

– *I licet*, – произнес претор, что означало окончание суда.

Приговор был встречен глухим ропотом со стороны публики, так как народ склонен сочувствовать несчастным, хотя и преступникам.

Эти лица были консулами в 760 году от основания Рима.

Стали выходить из базилики, и площадь вновь зашумела народом; повсюду слышались разнообразные мнения относительно происходившего на суде и самого приговора.

Носилки уносили с площади бедную Фебе, и все давали ей дорогу, выражая к молодой девушке глубокое сострадание.

Был уже девятый час дня.

Глава седьмая

Распятие

Фумиал не был далек от истины в своих предположениях. Юлия, условившись предварительно с претором Луцием Пулькром, могла избежать необходимости быть вызванной на суд в качестве свидетельницы; и она сделала это, не желая явиться явной участницей в заговоре пиратов и римских патрициев; но она не ограничилась заботой лишь о самой себе. Многим лицам, явившимся к ней утром осведомиться о ее здоровье и узнать, не имело ли на нее вредных последствий то насилие, которому она подверглась накануне со стороны своих похитителей, поспешила ответить, что последние относились к ней с полным вниманием и глубоким почтением, а такие слова являлись для догадливых судей сильной рекомендацией в пользу подсудимых.

– Если обратить внимание, – говорила дочь Августа, – на их обхождение со мной, то можно думать, что ими руководило честное намерение положить конец ссылке, которой наказал меня мой отец, и подкрепить сочувствие ко мне народа моего Рима сочувствием самого войска.

Ни эти слова, ни красноречивые взгляды красивой матроны не были напрасны; их держали в памяти почитатели Юлии на тот случай, если бы им пришлось быть членами суда.

И хотя претор, сообразуясь с законами при объявлении суда над пиратами, не привлек к нему римских патрициев, тем не менее те из друзей Юлии, которые находились в числе присяжных, догадываясь после показаний в качестве свидетельниц Фебе и Филезии, ловко сочинивших цель неудавшегося предприятия, что освобождение пиратов, защищаемых вольноотпущенницей дочери императора, было бы приятно для последней, старались убедить своих товарищей подать голос в пользу подсудимых.

– Да наконец, кем и чем доказано, что Тимен и его товарищи – пираты? – замечали некоторые из этих присяжных— Этого не доказал никто. Как же можем мы осудить их?

– Они прибыли сюда на гемиолиях, – возражали другие, не столь пристрастные, – а на гемиолиях плавают только одни греческие пираты. С какой целью, как не с целью грабежа, явились они вооруженными в наши моря? Ведь никто не осмелится назвать их купцами: у них не нашлось никакого товара.

– С какой целью они прибыли сюда, – отвечали первые, – это показали свидетели. Мы должны произнести приговор лишь на основании того, что выяснилось во время судебного разбирательства. Ведь вам известно, что говорили куриалы: *quod non est in actis, non est de hoc mundo*²². Итак, оставим всякие предположения, будем иметь в виду одни лишь факты; показания слышанных нами свидетелей ясно указывают на ту цель, какую должна была иметь эта экспедиция.

– Как бы то ни было, обратим внимание на результаты, – настаивали беспристрастные присяжные. – По нашим улицам текла римская кровь, и в изобилии; немало оказалось убитых и умерших от ран, а одна капля нашей крови стоит жизни всех этих чужестранных разбойников.

Этот спор был жаркий и продолжительный. Когда присяжные записали на дощечках соответствовавшую их мнению букву и последние были сосчитаны, то оказалось, что тридцать пять подали голос за оправдание подсудимых, трое за *non liquet*, сорок два обвинили подсудимых, как государственных преступников.

Следовательно, недоставало немного голосов для освобождения пиратов; но большинством было решено избавить их от предварительного истязания, чему желали их подвергнуть

²² Чего нет в актах, то не от сего мира (*лат.*) – то есть того не существует.

некоторые до распятия²³. Противное мнение превозмогло в данном случае ввиду того, что почти все подсудимые были более или менее покрыты ранами, полученными ими в схватке с солдатами; так что подвергать их до распятия излишнему истязанию было бы чрезвычайной жестокостью, которая могла бы возмутить народ.

Что касается Сальвидиена Руфа, Луция Авдазия и Азиния Эпикада, то первый был обвинен в участии в заговоре центурионом, арестовавшим его в самой схватке, а последние двое, по показанию солдат, были найдены на пиратской гемеиолии охранявшими двух похищенных женщин; Сальвидиен Руф, представивший за себя поручителя, был, по распоряжению претора, оставлен пока на свободе, а Луций Авдазий и Азиний Эпикад отправлены в Рим, где их участь должна была быть решена Августом и сенатом.

Но не ими интересовался город в эту минуту; его занимало совершение казни, к которой были присуждены пираты. Распятие было, вообще, очень редким зрелищем, а на этот раз оно особенно занимало весь город, потому что осужденных к распятию было одиннадцать человек.

Приготовление крестов началось по приказу претора тотчас после произнесения судом приговора. Кресты ставили недалеко от городской бойни, на том месте морского берега, близ которого дня два тому назад приставала лодка с известным рыбаком, оставившим там же хирограф, написанный Семпронием Гракхом. Эта местность была избрана для этого с той как будто целью, чтобы показать несчастным, долженствовавшим быть казненными, что они должны искупить свои грабежи и злодеяния в виду того самого моря, на котором они их производили, приводя в страх прибрежных жителей, и откуда ворвались в Реджию с дерзким намерением похитить дочь императора.

Юст Липсий и другие не менее серьезные писатели подробно разбирали этот род наказания, бывший в употреблении в древние времена. Они рассказывают нам о разных способах распятия, о разных формах самого креста, о надписях, какие делались над крестами, и о многих других мелочах, которыми мои читатели, вероятно, не интересуются и самое воспоминание о которых в состоянии возбудить отвращение в душе нашей. Упомяну разве лишь о том, что, по словам того же Юста Липсия и Людовика Целия Родигина, фигура креста представляла собой букву Т, которая в египетских иероглифах означала будущую жизнь; намекну еще на некоторые исторические данные, заимствуя их из другого моего сочинения, в котором описаны мной разные системы наказаний, существовавшие в древние времена.

«Так как крест, вследствие того, что на нем умер Христос, с давнего времени изображает собой символ искупления и служит предметом культа, то нахожу небезынтересным сказать о нем несколько слов.

Наказание распятием на кресте редко применялось к лицам, которые не принадлежали к низшему классу, так что Цицерон, обвиняя Верра, одним из важных его преступлений называет его распоряжение о распятии одного римского гражданина: *facinus est vinciri civem romanum; scelus verberari; prope parricidium necari; quid in crucem tollere?*²⁴

Чаще всего наказывали распятием за важные государственные преступления и за оскорбление верховной власти; и на кресте Иисуса Христа также мы видим надпись: *Rex judiorum*, Царь иудейский, указывающую на то, будто он провозглашал себя царем своей нации...

²³ Редко совершалось распятие без предварительного истязания бичами, снабженными на концах костяшками. Многие из осужденных умирали под ударами таких бичей в руках жестокосердых палачей. Другое средство усилить наказание распятием на кресте было то, что называлось *deductio*; оно заключалось в осмеянии и унижении осужденного (*ludibrium*), в принуждении его нести самому свой крест и, кроме того, в пинках, ударах и прочих действиях (*tormentum*), которые совершались над осужденным во время пути до места распятия.

²⁴ То есть: «Преступление – заключать римского гражданина в тюрьму; злодеяние бить его розгами и почти отцеубийство – убивать его; но как назвать после этого распятие на кресте?»

Этим объясняется отчасти, почему распятие употреблялось чаще в провинциях, присоединенных к империи силой оружия; часто случалось также, что этим наказанием злоупотребляли по отношению к неприятелю.

Уже Александр Великий подал жестокий пример при взятии города Тира, приказав распять две тысячи его граждан; другой Александр выказал такую же жестокость в Иудее, когда, пируя вместе со своими наложницами, услаждал в то же время свои взоры мучениями восьмисот евреев, распятых на крестах; Квинтилий Вар при усмирении одного из волнений в Иудее также приказал распять две тысячи евреев; Август по окончании сицилианской войны осудил на распятие шестьсот невольников; Тиверий, царствовавший после Августа, наказал подобным образом жрецов богини Изиды и вместе с ними невольницу Паолины, Иду, за то, что она содействовала прелюбодеянию госпожи в храме упомянутой богини; а Тит, милосерднейший Тит, при осаде Иерусалима распял пятьсот человек, и по этому поводу говорили, что количество распятых было таково, что земли не доставало для крестов, а крестов не доставало для тел»²⁵.

Вернемся теперь к нашей сцене.

Весь город был в движении: толпы колыхались, начиная от площади до самого берега моря, так как к реджийским гражданам присоединились поселяне всех окружающих деревень, прибывшие еще накануне на городские нундины²⁶, то есть базар; поселян, многие из которых видели кровавую схватку между пиратами и войском и присутствовали на суде, интересовал и конец этого события, то есть сама казнь одиннадцати разбойников.

– Как ты думаешь, они сами понесут кресты? – спросил любопытный суконщик булочника. Оба наши приятеля, интересовавшиеся, подобно прочим, редкой казнью, чтобы присутствовать на ней, не пожалели закрыть свои лавки, *taberna*.

– Разве ты не слышал, Паквий, – отвечал Пумиций, – что, осуждая их на распятие, судьи все-таки имели к ним некоторое снисхождение? Они не будут подвергнуты ни осмеянию, ни бичеванию плетью; им не будут также перебиты голени²⁷; следовательно, вероятно, что они не понесут своих крестов.

– Да эти гордые люди и не понесли бы их, так что судьи своим снисхождением сохранили лишь достоинство суда и исполнительной власти. Ты ведь видел, что на все обращенные к ним претором вопросы они не открыли даже рта.

В эту минуту толпа народа приостановилась, чтобы взглянуть по направлению площади, увеличившийся шум откуда заставлял предполагать о выходе из базилики осужденных, и действительно, из нее выходила печальная процессия.

На пороге главных дверей базилики показались пираты, закованные в цепи, в которых они находились и во время судебного разбирательства, и медленным шагом направились к городским воротам, ведущим к морскому берегу. Пираты шли между двумя рядами солдат, вооруженных копьями и алебардами; им предшествовала кавалерия, ликторы, очищавшие дорогу, и музыканты, трубившие печальный и торжественный мотив.

²⁵ См.: *Pompei e le sue rovine*, ч. I, гл. 10, с. 353, соч. автора этого рассказа.

²⁶ Нундины (*novendinae* – девятидневники) – так назывались базарные или ярмарочные дни, в которые окружающие поселяне приходили в город для продаж и покупок. Это название объясняется тем, что базары проходили по прошествии каждых восьми дней. Площадь, где они устраивались, называлась поэтому *Forum nundinarium*; кроме того, в базарные дни объявлялись законы. Фест пишет, что в эти дни суды были закрыты и не происходило народных собраний. В Риме и в прочих городах, особенно в римских колониях, также существовали нундины; в Помпее, например, открыта площадь, носившая название Нундинарской.

²⁷ Перебитие голени (*cruci iragium*) было совершено у двух разбойников, распятых вместе с Христом, и у многих христианских мучеников. Однако такая операция при распятии не употреблялась в Риме, где ей подвергались лишь невольники. Относительно Реджи нужно сказать, что хотя она была военной римской колонией, но в ней нравы не отличались такой жестокостью, как в других колониях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.